

Анастасия Вербицкая

Дух времени



Анастасия Вербицкая

Дух времени

«Public Domain»

1907

Вербицкая А. А.

Дух времени / А. А. Вербицкая — «Public Domain», 1907

«Это было осенью 1903 года. С утра упорно моросил дождик, окутывая город гнилым туманом. Но это не помешало огромной толпе собраться на похоронах талантливого, «безвременно умершего», как говорили газеты, писателя. Студенты несли на плечах гроб, слева валила толпа: представители редакций, репортеры, курсистки; очень много женщин и учащейся молодежи вообще. Сзади ехало несколько линеек, пустых пока. В одной только сидели старушка, мать покойного, и трое его ребят...»

Содержание

Книга 1	5
Часть первая	5
I	5
II	11
III	14
V	31
VII	43
VIII	50
IX	59
X	64
XI	70
XII	74
XIII	76
XIV	81
XV	84
XVI	92
XVII	102
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Анастасия Вербицкая

Дух времени

Книга 1

*Erlöschen sind die heitern Sonnen.*¹
FT. Schiller

*Я люблю Того, кто строит Высшее над собой и так погибает...*²
Ницше

Часть первая

1

Это было осенью 1903 года.

С утра упорно моросил дождик, окутывая город гнилым туманом. Но это не помешало огромной толпе собраться на похоронах талантливого, «безвременно умершего», как говорили газеты, писателя. Студенты несли на плечах гроб, слева валила толпа: представители редакций, репортеры, курсистки; очень много женщин и учащейся молодежи вообще. Сзади ехало несколько линеек, пустых пока. В одной только сидели старушка, мать покойного, и трое его ребят.

Вдова шла за гробом первая – мерным, решительным шагом; сдвинув суровые брови; без слез, как бы стыдясь всякого проявления горя. В её некрасивом, молодом ещё лице, в её упорном взгляде, в угловатой, широкоплечей фигуре и в самой походке чувствовалась сила. Шествие замыкала пролетка, вся, сверху до низу, покрытая венками с лентами и надписями.

– Кого хоронят? – спрашивали встречные и крестились с недоумением. Автор не пользовался популярностью среди большой публики. Но он был из крестьян, писал о деревне, рабочие и учащаяся молодежь ценили его. Многие присоединялись к процессии. И когда толпа подошла наконец, вся промокшая, к кладбищу, обыватели окраин, удивленные таким стечением народа, побросали свои дела и тоже кинулись «поглазеть». Два подростка-мастеровых, работая локтями, с ожесточенными лицами, подрались-таки к самой могиле.

Она зияла, красновато-желтая, угрюмая. Среди мгновенно наступившей тишины слышно было, как, тяжело дыша, могильщики спускали в яму гроб; как глухо стукнул он, коснувшись земли.

Вдова стояла впереди, держа за руки двух девочек в бурнусиках³, в красных вязаных шапочках. Мальчик лет девяти, закусив нижнюю дрожавшую губу, с ужасом глядел вниз, в могилу. Он слегка вытянул тоненькую шею и тискал в озябших руках свой старый картузик.

– Тише!.. Тише!.. – пронеслось, как ветер, в толпе.

Редактор либеральной газеты «Вестник», с седой головой и красным угрюмым лицом, начал свою речь.

¹ «Погасли веселие солнца». – Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Идеалы».

² «Я люблю Того, кто строит Высшее над собой и так погибает...» – Цитата из кн. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1884).

³ ...в бурнусиках... – Бурнус – просторный плащ с капюшоном, отделанный тесьмой.

Толпа придвинулась разом к могиле и замерла. Было так тесно, что дамы сложили зонтики, и дождь упорно и меланхолично сеял на лица и плечи с неприветливого, холодного неба.

Речей было много. Сперва от товарищей-сотрудников, более или менее банальные, с заезженными фразами, с трафаретными возгласами; затем от учащейся молодежи, с более искренними нотками; некоторые горячие и красивые, но все какие-то расплывчатые, с туманными намеками на что-то, о чем нельзя было сказать вслух, но чего страстно ждала эта затаившая дыхание, сгрудившаяся толпа.

Околоточный, молодой франт в белых перчатках, топтавшийся неподалеку, двинулся было вперед. Его не пустили. Толпа стояла, непроницаемая и враждебная. Она ждала...

Две хорошенькие девушки подошли и стали шептаться с околоточным. Он прижимал к груди руки в белых перчатках, что-то стараясь доказать. На них оглянулись и шикнули. Околоточный покраснел, пожал плечами, развел руками... Разве он предвидел такой случай? Имя писателя ничего ему не говорило... Крутя блестящий ус, он отвечал усмешкой на благодарные улыбки барышень. Через мгновение он отошел, потряхивая плечами, не желая слышать того, что говорилось.

Слово было дано публике – тому далекому, неведомому читателю, которого не суждено видеть при жизни никому из нас.

Молодой брюнет в темном пальто, в ослепительных воротничках, сильными, яркими мазками набросал картинку из жизни писателя – гонения, ссылки, нужду... Он не повторял избитых фраз о «боевой» роли покойного в литературе, об его светлой душе, «которая открывалась навстречу всем павшим и побежденным»... Казалось, не в любви к ближнему видел он заслугу писателя... Во весь рост вставала, зарисованная этими беглыми штрихами, личность покойного, эта цельная, яркая личность, не изменившая себе ни разу, не знавшая сомнений в деле жизни своей... Удивительной красотой повеяло от этого образа! И было что-то в этих словах, от чего дрогнула насторожившаяся толпа.

Он закончил так вдруг затрепетавшим голосом:

– Мы здесь – неведомые тебе почитатели и товарищи! Пусть нас разделяли тысячи препятствий, и мы не видели лица твоего, учитель!.. Мы запомнили слова твои... Мы слагали их в сердце своем... Ты сеял их в глухую ночь; с тоской в душе, не надеясь на скорые всходы, не зная нивы своей. Но в этот последний час мы пришли на могилу твою, чтоб сказать тебе: «Семя не пропало. Оно зреет во мраке... Ты сеял ночью, а колос взойдет на заре...»

Кто-то всхлипнул из женщин, стоявших над могилой. Вдова кинула туда яркий взгляд и потупилась. Только темные брови сдвинулись ещё суровее.

Оратор смешался с толпой.

– Кто это?.. Писатель?.. Учитель?.. Студент? Кто такой? – взволнованным шепотом спрашивали друг у друга.

– Это наборщик, – сказал красавец-техник с черной бородкой и ласковыми глазами. Все головы обернулись вслед оратору...

– Неужели? Простой рабочий?

Курсистка с крестьянским умным, но суровым лицом тронула за рукав соседа-студента. У того были усталые глаза и бескровные губы.

– Иванцов, послушайте... Почему он сказал: «мы, V* твои товарищи»? Разве он тоже пишет?

Красавец-техник насмешливо покачал головой.

– Ах, Марья Егоровна!.. Что значит с головой уйти в науку!

– Кажется, я не с вами, Зейдеман, говорю! – оборвала она.

В это мгновение высокий блондин, стоявший у могилы, поднял руку и глянул в толпу блестящими глазами.

- Тобольцев... Тобольцев! – прошел быстрый шепот.
- Кто?.. Вот этот? – так и встрепенулся Иванцов.
- Да... Он свои стихи прочтет... Замечательно читает! – объяснил Зейдеман.
- Тсс...

Бледный студент впился глазами в Тобольцева.

Все стихло. Многие сзади подымались на цыпочки, чтоб видеть это бритое, тонкое, выразительное лицо, с шапкой золотистых кудрей над широким, прекрасным лбом.

- Дуся какая!.. – шепнула одна барышня другой.

Ты смолк навек, поэт суровый,
Не знавший отдыха борец...

Ясно, отчетливо звучал грудной голос, без малейшего напряжения. Но его слышали все, даже стоявшие позади. В нем была такая полнота и музыкальность, что он казался лаской. Он властно гипнотизировал и только одними интонациями создавал то, что называется «настроением».

В стихах говорилось о тучах, обложивших небо; о немолчных слезах, которые льются, как этот дождь; о тусклой жизни, ползущей, как этот больной туман; о том, как трудно дышится, как болезненно мечтается о солнце; как жутко идти вразброд в этом растущем тумане, «без дороги», ощущая... в ожидании рассвета...

Ты вехой был на том распутье,
В тумане слабый огонек,
И ты угас... Дружней сомкнитесь!
Рассвет, быть может, недалек...

С необыкновенной страстностью и силой прозвучали последние строфы. Настоящим вдохновением горели блестящие глаза. И, как ни банальны сами по себе в сущности были эти стихи – они были сказаны с таким талантом и «захватом», что впечатление получилось огромное. Стихи сделали то, чего не смогли сделать речи, как ни были они содержательны. Вдова покойного быстро вынула платок и закрыла им лицо.

Тогда среди наступившей тишины вдруг раздались истерические рыдания женщин. Плакал и даже прямо навзрыд, дергаясь плечами – один совсем юный рабочий. На него оглядывались с любопытством, но ему не было стыдно.

Вдруг на краю могилы выросла новая фигура. Маленькая, сильная рука поднялась в воздух, требуя внимания. И все напряженно глядели в это молодое, бледное лицо, на котором чуть пробивались усики. Пиджак, пальто, вышитая сорочка, очки на вздернутом, дерзком носу – не давали ничего характерного. Это мог быть приказчик, мог быть рабочий, мог быть студент. И лицо не могло бы назваться интеллигентным, если б не глаза. Пытливо, вызывающе они глядели в толпу и вспыхивали, как угольки. А на слегка вздутых, бледных губах порхала полная сарказма улыбка.

– Я слышал много слов... и даже стихи, – начал он вздрагивающим тенорком, нервным жестом поправляя очки. – Я видел много слез... глаза, загоравшиеся любопытством, и... простите... мне на одно мгновение показалось, что я... в театре...

По толпе прошло движение, словно ветер колыхнул ее. Послышался ропот... Потом тишина стала ещё глубже.

– Да, – спокойно продолжал тенорок, – я своих слов назад не возьму... И когда господин Тобольцев (Тобольцев покраснел и пристально взгляделся в незнакомое ему лицо) кончил стихи, мне представилось, что благодарные слушатели наградят его аплодисментами...

– Кто это? Что он говорит? Зачем ему дали говорить? – заволновались в толпе.

– Тсс... – строго шикнул брюнет-наборщик, оглядываясь на роптавших. Он придвинулся вперед и опустил голову.

– Но мы стоим у могилы замученного человека, нога которого, быть может, никогда не была в театре; который не ведал жадного любопытства сытых людей, требующих зрелищ и зрелищ, во что бы то ни стало!.. И вот я невольно задал себе вопрос: если б писатель мог встать из могилы и прочесть в наших душах, – вознаградила бы его эта минута за долгую жизнь, полную оскорблений и самой горькой нужды? И я говорю себе: нет... нет... нет!..

Толпа опять дрогнула. Все глаза горели, устремленные в это бледное лицо, вдруг показавшееся таким значительным.

– Товарищ сказал, будто вы, собравшиеся здесь, слагали в сердце своем слова покойного... Не верю!.. Говорят, завидна участь писателей. И этому не верю!

«Писатель пописывает, а читатель почитывает...»⁴ Это ещё Щедрин сказал. А уж он ли не знал своего брата-интеллигента? Могилу засыпят землей, завтра в газетах появятся чувствительные некрологи, с неизбежным возгласом: «Да будет тебе земля легка!..» А вы все разоидетесь по домам и будете жить так же, как жили вчера, как будто вы не были в это утро зрителями глухой трагедии... Впрочем... Чего же и ждать от «зрителей»? Разве вы не одинаково красиво говорите на могилах и на юбилейных обедах? Разве вы не проливаете и в театрах тех же горячих слез, какие льете здесь, на кладбище?.. И мне хочется крикнуть вам в лицо, вам, ни холодным, ни горячим, у этой свежей могилы: «довольно слез!.. Довольно речей!.. Где были вы, друзья и почитатели, – когда покойный голодал в своей ссылке? Когда его томили в тюрьмах?.. Почему вы дали ему умереть в чахотке? Почему не сохранили этой ценной жизни?.. Вы все – чужие ему... Он – наш! Он писал о деревне и фабрике. Он знал, что родился новый читатель. На устах его горят сотни жадных вопросов... Кто теперь ответит на них?.. Кто в эту глухую ночь зажжет факел и высоко подымет его, чтоб озарить наш путь? Мы стоим у дверей и ждем своей доли... Мы ждем своего поэта и пророка. Ваши – нам не нужны... Горе тому, кто забыл о нас в эту долгую ночь!.. Мы тоже забудем его... Но вот это имя (он указал на могилу) не умрет в нашей памяти... Не в вашей, господа! – язвительно бросил он в толпу. – Нет моста над пропастью, разделившей нас! И даже через могилу, знайте, мы не протянем вам руки!..

Он кончил. Толпа стояла неподвижно. Никто не заметил, как оратор спешно пробрался к выходу. Его догнал брюнет в пальто. У ворот они, не торгуясь, взяли извозчика, и, прежде чем слушатели пришли в себя, они были уже далеко.

На гроб с зловещим стуком упала первая горсть земли... ещё, ещё... Закрыв дергавшийся рот платком, вдова писателя глядела в зиявшую могилу, и слезы бежали по её щекам.

Плакала на этот раз и мать покойного, крошечная старушка, с простым лицом крестьянки; и мальчик с тоненькой шейкой; и обе девочки в красных вязаных шапочках и в рваных калошах. И пока земля стучала по крышке гроба сперва громко, потом все глуше и глуше, все стояли недвижно, потрясенные до глубины души, а женщины рыдали все сильнее.

А дождик сеял упорно и печально, и, казалось, ему конца не будет. И никогда не проглянет то солнце, которого, по словам Тобольцева, так страстно, так давно все ждали...

Наконец толпа качнулась, зашевелилась, стала распадаться. Многие отошли, раскрыли зонтики, двинулись к выходу.

– Вера Ивановна, – ласково трогая вдову за локоть, зашептал редактор «Вестника», – милости просим к нам!.. Не откажите почтить память покойного... Вся редакция будет в сборе...

⁴ «Писатель пописывает, а читатель почитывает...» – Неточная цитата из письма № 1 публицистического цикла М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пестрые письма» (1884–1886).

Она вслушалась, вытерла слезы, кивнула головой и машинально потрогала шапочки дочерей. Девочки уцепились за юбку матери и со страхом озирались.

– Митя... Картуз надень! – отрывисто, низким голосом сказала вдова сыну. – Полно плакать! Полно... Высморкайся!.. Где твой платок? – Крупным шагом она подошла к Тобольцеву, окруженному молодежи, и протянула ему руку.

– Благодарю вас... Вы... артист?

– Н-нет...

– Ваша фамилия?

– Тобольцев.

– Благодарю вас!.. Вы меня очень тронули... Напишите мне эти стихи... Я их сохранию...

На них все глядели. Она покраснела, насупилась, ещё раз крепко тряхнула руку Тобольцева и оглянулась, ища детей.

– Ног не промочила? Осторожней!.. Гляди под ноги... Варя, платок поправь! С бабушкой садитесь... Где бабушка? Митя! Не зевай! Тебя задавят... Мама, садитесь на линейку⁵...

Ее грубоватый голос звучал повелительно, почти спокойно.

– Бедность какая! – говорили в разбившихся группах. – На ребятах калоши рваные видели?

– А она – молодец! Говорят, ей место фельдшерицы дадут. Она с Рождественских курсов. В других группах молодежи слышалось:

– Какие речи, господа! – Нет!.. Я нахожу, что каждое это слово – правда! – Голословные обвинения! Никчемная выходка! – Вот они, какие читатели теперь объявились! – Сейчас обеденный час в типографиях... Их здесь много, господа...

Тобольцев говорил красивой, стройной даме в черном:

– Замечаешь, Лиза? Ни малейшего угнетения. Наоборот... Какое-то повышенное настроение у всех. Как ясно, что смерть бессильна перед жизнью!.. Она не уничтожает лучшего, что есть в человеке, – его индивидуальности... высказанного, написанного, созданного им... Вот как я, Лизонька, понимаю бессмертие человеческого духа!.. И знаешь? Вот именно здесь, под серым небом, на унылом кладбище я так ярко, так сильно чувствую красоту жизни, всю её власть и значение... Я ужасно счастлив, Лиза, в эту минуту!

Она задумчиво и удивленно покачала головой.

– Как вы нашли эту речь? – спросил Тобольцева передовик «Вестника». – Не правда ли, как это бестактно? Бросать у раскрытой могилы такие вызовы?.. По какому праву?

– Нет, это интересно!.. Мне он понравился.

– У-ди-вля-юсь!..

– Кто он? Вы знакомы? – спрашивал репортер уличной газеты. – Отчего он вас знает?

Тобольцев пожал плечами.

– Я, к крайнему сожалению, вижу его в первый раз, как и вы...

– Узнаю этих господ, – брезгливо говорил редактор «Вестника». – Они всюду вносят смуту...

Тобольцев усадил свою даму в пролетку и вернулся на кладбище. У самых ворот его остановил студент Иванцов.

– Вы – Тобольцев?

– Я... Чем могу служить?

В двух словах не скажешь... Позвольте...

Но его перебили. Зейдеман протягивал Тобольцеву пакет.

– Вы, кажется, собирали на семью покойного? Вот примите и нашу лепту... От техников... Пятьдесят рублей двадцать пять копеек.

⁵ Линейка – многоместный экипаж с продольной перегородкой, в котором сидят боком по направлению движения.

– Благодарю вас...

– Много собрали, Тобольцев? – спрашивала миленькая курсистка в щегольской шапочке с белым пером.

– Пятьсот сорок... да вот сейчас пятьдесят рублей...

Глаза Тобольцева как будто ласкали девушку. Она радостно покраснела. Она не знала, что Тобольцев так смотрит на каждую молодую женщину.

– Напишите мне эти стихи, Тобольцев, – просила другая барышня, подходя. По её костюму и манерам сразу можно было угадать, что она с драматических курсов.

– Если только не забуду, – говорил он, показывая белые зубы и также лаская её лицо вспыхнувшими как будто глазами.

– Какой вздор! – нервно засмеялась барышня. – Вы хотите сказать, что это был экспромт?

– Именно...

– Все врет! – подхватила другая консерваторка, с восторгом глядя в его лицо.

– Pardon!.. Сию минуту, – сказал студенту Тобольцев. С озабоченным выражением поспешил он к редактору. Иванцов с недоумением глядел ему вслед.

– Что он? Актер? – спросила техника курсистка, с хищным еврейским профилем и темными гордыми глазами.

– Нет... Почему вы так думаете, Софья Львовна?

– Бр-ритый... И потом... популяр-рен очень... – Она сделала брезгливую мину. её р так и раскатилось.

Техник радостно засмеялся.

– Да... Его любят... Это очень талантливый человек... Пока любитель... И в ***ском банке служит. Но наверно на сцене будет... Он сибиряк, из раскольничьей богатой семьи... Его в Сибирском комитете очень ценят, – пояснил он, обращаясь уже к Иванцову.

– Он был вольнослушателем при университете?

– Был, кажется... Вообще, интересный человек... Он недавно из-за границы вернулся...

Что-то четыре года там провел...

Иванцов с любопытством следил за редактором «Вестника», который, принимая от Тобольцева пакет с деньгами, сконфуженно и почтительно благодарил.

Тобольцев отошел уже, когда редактор крикнул вслед:

– Как напечатать прикажете? От вашего имени?

– Помилуй Бог! – засмеялся тот, делая широкий жест. – Разве это мои деньги?

– Чем могу служить? – вежливо обернулся он в третий раз к подходившему опять Иванцову. Они двинулись с кладбища. Линейки, полные народа, уже отъезжали.

– Не хотите ли со мною?... Я еду на службу. Подвезу вас...

Студент конфузливо уселся в прекрасную пролетку, которая, мягко подпрыгивая на резиновых шинах, скоро обогнала редактора со вдовой, трусивших на плохом извозчике, линейку с ребятами и старушкой, всю толпу провожатых. Тобольцев поминутно раскланивался, приподымая шляпу. Студент рассеянно разглядывал затылок лихача, прекрасную обувь и щегольские брюки этого купеческого сынка. Как это все не вязалось с тем, что он слышал о нем! Но репутация этого щеголя была так высока, что студент простил ему «буржуазную» внешность и без малейшего колебания передал ему суть дела.

У них сейчас на руках две барышни, бывшие курсистки. Одна – дочь генерала, но семья торжественно отеклась от заблудшей овцы. Долго обе они «сидели», одна совсем безвинно; долго их гоняли по разным городам; теперь выпустили, разрешив жительство в столице. Одной двадцать один год, другой того меньше. С семнадцати лет она уже была под надзором. Бывшая сельская учительница. Теперь обе больны. Одна вся в ревматизмах, другая в острой истерии... Припадки, галлюцинации, судороги... затылок с пятками сходится. Прямо ужас берет смотреть на нее!.. И потом, кажется, наследственная чахотка. Обоих надо бы в Крым, вообще на юг... А

у них, конечно, ни гроша. Приютили их тут у одной курсистки на частной квартире; пробыли они сутки. После первого же припадка хозяйка закричала: «Вон! Все вон!.. В полицию заявлю, если комнату не очистите!»

– Ну и вас, конечно, ко мне направили?

– Да... Именно к вам...

– Отлично!.. Давайте их обеих! Квартира у меня большая...

– Мне говорили... Может, подписка?

– Соберу, соберу... Вы не беспокойтесь! У меня среди купцов есть знакомства. Нагреем их... Только вот раньше покажем барышень хорошему доктору. Куда он их пошлет?

– Их, знаете, одних нельзя оставить. Совсем неприспособленные обе, точно дети... Уход бы нужен.

– Не беспокойтесь! У меня нянюшка живет. Чистый клад...

– Вы женаты?

– Помилуй Бог! – Тобольцев засмеялся так заразительно, – что и у студента лицо расплылось в улыбке. – Я ещё жизнью дорожу... По мне что женился, что удавился – одна цена... Стой, Сергей!.. Честь имею кланяться!.. Милости просим всегда. И поболтать и по делу...

– А вас когда застать можно?

Брови Тобольцева дрогнули, и он как-то беспомощно развел руками.

– Вот уж, знаете... Меня обыкновенно ловят в обеденный час... Так от пяти до шести...

Но обещать не могу...

Иванцов рассмеялся совсем уж весело и добродушно.

– Вот удача, значит, что встретились на похоронах! Мне дали ваш адрес. У вас сейчас там Шебуев живет...

– Кто-с? – встрепенулся Тобольцев.

Студент покраснел и понизил голос.

– Да вот тот самый... Из Киева... Вы же знаете? Дня три назад, как приехал. Нелегальный...

– А! Да!.. да!.. да!.. Так теперь его фамилия Шебуев? – задумчиво спросил Тобольцев. Вдруг глаза его заиграли опять. – Вы, пожалуйста, на меня не Удивляйтесь... Ко мне столько приходят, ночуют, живут... Все чудесный народ... Но для меня... *Nomina sunt odiosa*...⁶

Оба расхохотались.

– Так я их сейчас привезу, – уже совсем доверчиво сказал студент. – Боюсь только вот прислуги вашей...

– Полноте... Что вы? Моя нянюшка – человек привычный. Скажите прямо: от Андрея Кириллыча... А я к пяти сам буду, с доктором, может быть... Вот вам на всякий случай моя карточка. До свидания!

Тяжелая дверь парадного подъезда поглотила статную фигуру.

Студент, улыбаясь бессознательно, шел по мокрой панели, под сеявшим дождем, и ему казалось, что он давно знает этого обаятельного человека. И он думал: «Ну, можно ли падать духом, когда тут, рядом, среди нас, есть такие люди?!»

II

Тобольцев не обманул и в пять часов приехал. Доктора он не застал, но оставил ему письмо.

⁶ Имена нежелательны {лат.}.

Ему отворила наняюшка, Анфиса Ниловна, сгорбленная старушка с крошечным личиком, темным как у иконы, вся в черном, в «головке»⁷... Она укоризненно поглядела на своего беспутного любимца, а он виновато улыбнулся ей, вешая пальто. Из столовой неслись звон ножей, громкий смех и женские голоса.

– Мало того, что на всех диванах у тебя проходимцы спят, – зашамкала нянюшка, – всю квартиру запаковали... Двух девок привезли. Неужто тут ночевать будут? Ты бы маменьку посовестился огорчать. Неравно приедет завтра... Страмота!

Тобольцев нетерпеливо взъерошил кудри, но сдержался и ласково потрепал старушку по плечу.

– Нянечка, милая... Вы нам лучше о самоварчике позаботьтесь своевременно. А насчет маменьки не беспокойтесь! Я к ней сам загляну после обедни. Устройте барышень в моей спальне...

– Вот те раз!.. Ты-то где будешь?

– Не ваша печаль, миленькая... Не пропаду, Бог паст! А вот тут одна больная есть...

– Б-о-л-ь-н-а-я?.. Что твоя корова одна-то... Ишь, ишь как ржут! Нешто такие бывают больные?

Из столовой долетел взрыв раскатистого женского смеха.

Тобольцев обнял шею старушки.

– Да, нянечка... И очень даже больная. Коли доктор (он скоро будет) велит за сиделкой послать, вы того студента направьте... Знаете, черный такой?

– Который в столовой дрыхнет? – тоном ниже спросила няня, прижимаясь морщинистой щекой к его руке.

– Нет... Тот, который в кабинете, на кушетке, Дмитриев... Наш с вами земляк...

– А-а!.. Знаю!.. Сразу-то всех не разберешь... Ровно постоялый двор у нас-то с тобою...

– И вообще, нянечка, я на вас полагаюсь во всем... С дворником мы сталкиваемся... А вы уж приласкайте барышень... Они обе бездомные, сироты, хуже детей малых...

– Ну, ну, ладно!.. Что уж там! – забормотала старуха, растроганная не столько словами Тобольцева, сколько голосом его.

– А вот и он! – раздались веселые возгласы. За столом, прекрасно сервированным, уже доедали жаркое.

– Извини, Андрей Кириллыч, никак супу не осталось? – хмуро заметила нянюшка.

– Честь имею представиться!.. Очень рад, – говорил хозяин, ласково глядя в загоревшиеся личики курсисток... «Которая же из них больная?»

Одна – высокая породистая полная блондинка с стриженными выющимися волосами, с сильным грудным голосом («корова»), поражала своей жизнерадостностью. Казалось, позади были не годы заключения и лишений всевозможного рода, а спорт, выезды, сытая жизнь генеральской дочки. Другая – маленькая, черненькая, с лицом довольно вульгарным, если б не темные глаза, мечтательно, почти вдохновенно глядевшие куда-то... казалось, мимо того, с кем она говорила.

«Вот эта самая», – догадался Тобольцев. Только У истерички могло быть такое необычное одухотворенное выражение. Сердце его сжалось, когда он подумал, сколько вынесло уже на своих хрупких плечах это обреченное создание, беспомощное, безвольное и без вредное, как дитя.

За столом, кроме них, сидела ещё целая компания Шебуев в блузе, подпоясанный ремешком, с лицом ярославского мужичка, лукаво-добродушным, но с горячими, смелыми глазами, которые ярко загорались когда что-нибудь задевало его в споре. И тогда это «неинтеллигентное» лицо поразительно менялось и за хватывало нравственной мощью. Дмитриев – студент

⁷ Стр. 30 «Головка» – головная повязка замужних женщин в купеческой среде.

первого курса, живший у Тобольцева, потому что у него не было родных и ему некуда было деться. Он приехал сюда прямо из Красноярска, списавшись с земляками-студентами, и жил здесь уже второй месяц в ожидании заработка. Он был широкий в кости цветущий и наивный. Шебуева занимала эта наивность, и они всё время пикировались.

Иванцов, привезший барышень, сидел тут же и жадно глядел на Шебуева. «Ведь, вот, подите ж! – думал он. – Хоть бы что ему!.. Шутит с девицами уписывает тетерку, дразнит студента... А что ждет его завтра?..» Но он был страшно рад этой встрече и рассчитывал вызвать Шебуева на интимный разговор наедине.

– У вас больной вид. Отчего вы так бледны? – спросил Тобольцев Иванцова.

– Из тюрьмы выпущен. Полгода сидел в одиночке.

Шебуев оглянулся на студента, и глаза его сверкнули.

Через четверть часа они уже говорили, как свои.

На хозяйском месте сидел Чернов, актер, оставшийся без ангажемента. Прошлый год он явился к Тобольцеву после месяца голодовки, да так и остался у него.

«Истеричка» ещё дичилась немного Тобольцева и чужих людей, но генеральская дочка Таня (как она всем рекомендовалась) чувствовала себя здесь так, словно пять лет была знакома с этой компанией. Нашлись общие знакомые среди «сидевших», разговоры лились рекой, пока не приехал доктор.

Черненькая учительница – Нина – не сводила глаз с Тобольцева, не проронила ни одного слова. Шел горячий спор. Шебуев с нетерпимостью социалиста-революционера нападал на Ницше, Оскара Уайльда, на эстетов и индивидуалистов, на созданное ими новое течение мыслей⁸, растлевающее молодежь... Он так и сказал «растлевающее»...

Тобольцев страстно возражал. В этом новом веянии он видел зарю освобождения для личности, видел протест.

– Вся ваша литература, – говорил Шебуев, – все ваше искусство безнравственно или ничтожно. Нет идейности ни в чем... А только поиски «настроений и красоты». Верите ли, Тобольцев? До того мне опостылело это слово «красота», что, ей-Богу, кто мне о ней заговорит!.. – И он добродушно расхохотался.

– Что такое безнравственно?! – возражал Тобольцев. – Книги есть талантливые и бездарные. И картины тоже... Художник не должен иметь этических симпатий. Искусство не имеет практических задач⁹. Да... да... Это я вам возражаю словами Оскара Уайльда, которого вы отрицаете, а я признаю... Талантливое произведение есть дело жизни художника, его вклад, его бессмертие... И кто смеет его судить за то, что, творя, он остается самим собою? Разве это не все, что требуется от большого человека?

Шебуев страстно кинулся в спор. Он вспоминал Писарева¹⁰, он цитировал Толстого.

Иванцов достал литографированный листок и предложил прочесть его вслух. Это была запрещенная тогда цензурой статья Обнинского¹¹ «Ограбленные слова»... Иванцов прочел ее, волнуясь... «Нет возвышенных целей, нет общественных интересов, нет широких задач»...

Но Тобольцев остался равнодушен.

⁸ ...нападал на Ницше, Оскара Уайльда, на эстетов и индивидуалистов, на созданное ими новое течение мыслей... – Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма; Уайльд Оскар Фингал О’Флаэрти Уилс (1854–1900) – английский писатель и критик. Оказали воздействие на формирование философских и эстетических основ европейского модернизма.

⁹ Книги есть талантливые и бездарные. И картины тоже. Художник не должен иметь этических симпатий. Искусство не имеет практических задач. – Неточная цитата из гл. XIX романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891).

¹⁰ Д. И. Писарев (1840–1868) – публицист и критик, утверждавший примат естественных наук над эстетическими проблемами.

¹¹ В. П. Обнинский (1867–1916) – писатель и публицист.

– Эти «ограбленные слова», – сказал он, – напоминают мне «забытые слова» Щедрина...¹² Но отчего их забыли? Не оттого ли, что иссякла их творческая сила? Не оттого ли, что исчезла их руководящая роль?.. Жизнь не стоит на месте. И новая жизнь требует новых слов... Да, старые тракты заросли, но возобновлять их не надо. По ним проедут все те же тройки... Прологайте новые пути в неизведанные страны!.. В этом вся прелесть жизни!

Черные глаза Нины искрились от восторга. А спор разгорался все ярче.

С учительницей к ночи уже был большой припадок истерии. Случилось это так... Когда убрав «барышням» в спальне Тобольцева, нянюшка хотела выйти, Таня совсем по-детски сказала: «Посидите, нянечка, у меня в ногах немножко... Вы мне очень нравитесь»... И сочным голосом она стала рассказывать старушке о своих приключениях.

Нина молчала, отвернувшись к стенке, и только вздыхала протяжно и тоскливо. Так прошло с полчаса.

– Не мешаем ли мы ей спать? – догадалась няня.

Вдруг Нина села на постели, словно прислушиваясь; к чему-то; свесила ноги, откинула одеяло. Широко открытые мерцавшие глаза с удивительным выражением восторга глядели куда-то вверх. На побледневшем лице сиял экстаз... Любая трагическая артистку позавидовала бы этому лицу, этим жестам.

Таня схватила няню за плечо.

– Начинается!.. Начинается!.. Я так и знала!.. Пен зовите... скорей! Я так и знала.

Няня выскочила в столовую, где мужчины после ужина допивали ликер. Когда она расправила дверь, её догнал страшный вопль. Он ворвался с нею вместе в комнату. Все вскочили. Чернов помертвел. Тобольцев и Шебуев кинулись первые.

Когда в дверях мелькнула крупная фигура Тани в одной рубашке, с голыми ногами, все замерло у порога.

– Ничего... Идите!.. Я в одеяло завернусь, – доверчиво крикнула она.

Больная лежала на полу, выгнувшись колесом. Судорога дергала её худое смуглое тело. Пятки сводило к затылку, как это бывает при столбняке... Тобольцев помнил наставления доктора, Он не растерялся, сбросил пиджак... Чернова прогнали. Он плакал, как женщина. А близорукий Иванцов, протирая очки, никак не мог рассмотреть, где голова судорожно бившейся больной, а где её ноги. Его тоже прогнали за негодностью.

Через час, измученные, с прилипшими ко лбу волосами, все вышли в столовую.

– Голубчик!.. Не уходите, оставайтесь! – молила Таня Тобольцева. – Или лягте рядом... вон в той комнате...

– Спите, спите!.. Мы с няней подежурим.

Он всю ночь дремал в кресле, у постели больной, беспрестанно просыпаясь и прислушиваясь. Рука его, затекшая и онемевшая, держала руку Нины. И стоило ему только разжать пальцы, как черные глаза раскалились в ужасе. И больная, задыхаясь, шептала:

– Куда вы?.. Не уходите!.. Не уходите!

III

Через неделю, отдохнувшие и очарованные лаской окружающих, обе девушки ехали в Крым, в имение богатого купца.

– Скорей, скорей! – торопил Тобольцева доктор – Дорог каждый день. У вашей Нины начинается скоротечная чахотка.

Но девушкам не хотелось ехать.

¹² «Забытые слова» Щедрина – начало неоконченного произведения (опубл. в 1889 г.), в котором воскрешались «забытые» в 80-е гг. идеалы демократизма и утопического социализма.

– Мы знаем теперь, что такое рай на земле, – говорила Нина Тобольцеву.

А Таня, целуя плакавшую нянюшку, успевшую искренне привязаться к сиротам, твердила зычным голосом:

– Ваш барин – ангел, нянечка! Нет такого другого человека на земле!

Иванцов раздобыл фельдшерицу, крестьянку родом, только что кончившую курс. Звали её Марья Егоровна. Но она долго колебалась и не давала ответа. Угрюмая, с увядшим лицом девушки, до тридцати лет не знавшей того, что называется личной жизнью, она произвела на Тобольцева тяжелое впечатление.

– Какая она несчастная, Иванцов! Но в чем дело?

Почему она не соглашается? Вы говорите, что она изголодалась?

– Семья одолела в деревне. Вся на её плечах. Ей место в земстве вышло... Боится потерять. А в Крым ей до безумия ехать хочется!

– Ах, Боже мой! Если только за этим дело... Вот что, Иванцов... Скажите ей, что я не тридцать, а пятьдесят рублей жалованья кладу ей на всем готовом, на полгода, на год, если надо. Только чтоб она Нину не бросала... А когда вернется, сам добуду ей место... Вы мне верите?

Иванцов горячими глазами обласкал лицо Тобольцева, стиснул его руку и, взволнованный, вышел.

Он знал, что вся эта поездка будет стоить Тобольцеву более двух тысяч рублей и что она поглотит остатки его капитала, растраченного им за границей... Иванцов от Зейдемана тоже знал, на что растраченного...

На вокзал провожать трех девушек явилась целая толпа молодежи. Марья Егоровна словно помолодела на десять лет.

– Я слов не нахожу, чтобы вас благодарить, Иванцов! Как ушла я тогда в первый раз от вас, прибежала в свой подвал, повалилась в постель и... стыдно сказать... всю ночь проплакала... Ведь бывает же такое наваждение! Так захотелось солнца, моря!.. Просто хоть в петлю лезь!.. Поцеловать мне вас, что ли? Ха!.. Ха!.. Я точно опьянела, знаете? Даже совестно... Ведь больную везу...

– Вы Тобольцева лучше поцелуйте... Это он устроил...

– Нет, не умею благодарить!.. Вы скажите ему только, что нет на свете сейчас человека счастливее меня!

Таня и Нина на прощание обняли Тобольцева и горячо расцеловали его лицо. Обе плакали.

– Друг... Брат! – говорила Таня сочным голосом. – Теперь родные на всю жизнь... Пишите! И мы будем писать...

Все были растроганы. Чернов разрыдался, как женщина. Ему принесли воды, и он был очень доволен минутным вниманием публики.

Тобольцев был бледен и кусал губы, не находя обычных шуток. Прекрасные глаза обреченной девушки, их молящий взгляд жгли его душу, лишали его мужества. Он знал, что за эту неделю больная Нина, за которой он ходил, как нянька, безумно влюбилась, в него, со всем пылом и отчаянием своей догорающей жизни. Он знал, что Нина взяла у него частицу его души и что не скоро забудет он болезненную красоту этого высокого и трагического чувства...

И он знал также, что линии их двух жизней, скрестившиеся случайно и внезапно, не встретятся уже никогда...

Потом уехал и Шебуев – никто не знал куда.

Но через день в квартире Тобольцева был обыск. Все поднялись с диванов всклокоченные, бледные. Нянюшка чуть не умерла от страха. Тобольцев с неизменной улыбкой пояснил, что это его жильцы. Бумаги оказались у всех налицо и в исправности. Ничего подозрительного, кроме нескольких брошюр, не нашли. Но ведь и не их искали.

Тобольцева все-таки с неделю подержали в заключении ещё с недельку вызывали для разъяснений, наконец отпустили... И по этому он догадался, что Шебуев благополучно выехал за границу и что в Москве на его следы не напали.

Нянюшке было строго наказано скрыть от матери Тобольцева арест. Старушка умела молчать. Она съездила в Таганку на поклон «самой» и доложила, что барин кланяются. «Скоропостижно получили телеграмму и в Саратов выехали в киятре представлять». Такова была данная ей год ещё назад инструкция хозяина.

– Как бы маменька стороной не узнала!.. – сокрушалась впоследствии нянюшка. – Убьешь ты ее, Андрюша!

– Откуда ей узнать-то?.. А вы держите язык за зубами, нянечка... Ведь вы у нас – дипломат...

– Ох, пропадешь ты когда-нибудь за всю твою доброту! Хоть бы мать пожалел... Много она из-за тебя слез пролила...

Вот это было верно. Анна Порфирьевна Тобольцева, староверка, как её муж, ходившая всю жизнь в темном платочке, была суровой женщиной. И если б не её заступничество за Андрюшу, то отец заколотил бы его в гроб ещё в детстве.

Кирилл Андреевич Тобольцев был родом сибиряк, крутой нравом, фанатик в религиозных вопросах, в торговле предприимчивый и удачливый. Он вел торговлю мехами. В один из своих наездов в Москву он пленился красотой Анны Порфирьевны. За приданым он не гнался, хотя невеста принесла с собой двухэтажный дом и десять тысяч деньгами. Но что значила эта сумма для афериста, каким был Тобольцев?

Он в жизнь не тронул ни копейки из жениного капитала и никогда не рисковал им в своих предприятиях. Он обожал жену, несмотря на свою суровость, несмотря на ежегодные дебоши в Нижнем. Когда, семь лет спустя после свадьбы, Тобольцев заметил, что жена его тоскует и тает, он тяжело призадумался.

В Минусинске жил тогда знаменитый врач из политических ссыльных. Он имел от практики не менее десяти тысяч дохода, своих лошадей. Город носил его на руках.

Тобольцев, как все мужики, науку отрицал, а к интеллигентам питал с юности враждебное недоверие. Но любовь к жене превозмогла, и он повез её к знаменитости-терапевту.

Как удар грома пришиб его приговор врача. Анне Порфирьевне оказывалась необходимой немедленная перемена климата. Тоска (по родине?) съедала её силы, нервная система была отравлена невидимыми, неуловимыми ядами... Впереди грозила чахотка.

У Анны Порфирьевны был вид уличенной преступницы.

Тобольцев схватил себя за волосы.

– Печаль, говорит... О чем печаль? – допытывал он жену. – С тебя ли пылинки не сдуваю? Не токмо просьбу там али что... намек понимал... Наказуешь ты меня, Царица Небесная!

Она молчала, сидя перед ним с поникшей головой, красивая, тонкая, задумчивая... молчаливая... «Всегда молчаливая, – припомнил он с жутким чувством. – И смеха её за все семь лет не слышал ни разу...»

Через месяц Тобольцев сам сдался и почувствовал себя в пятьдесят лет стариком. Целые полгода он ликвидировал дела. Наконец они переехали в Россию, в Москву, и поселились в Таганке, в доме, где Анна Порфирьевна провела свое детство. Там-то вскоре и родился Андрюша.

На Никольской и сейчас существует магазин в два окна, где была контора Кирилла Андреевича.

Двое его сыновей с детства учились ему помогать и образование получили самое элементарное. Старший скоро стал правой рукой отца. Но он был прижимист от природы, не имел торгового размаха и шири отцовской натуры. И, глядя на него, как он подозрительно следит за приказчиками и выгадывает вершки товара у скорняков, можно было вперед сказать, что

он не «прогорит» от афер, но и никогда не подымет дела на ту высоту, на какой оно стояло лет десять* назад.

– Эх стар я стал! – не раз говорил Тобольцев. – Силы не те а то показал бы я тебе, остолоп, как дела-то ведут!

Они оба с женою всей душою отдались религии.

На Рогожском кладбище имя их пользовалось уважением¹³.

Анна Порфирьевна от природы была тонкая душа и умная женщина. Она настояла на том, чтобы третьего сына, талантливого Андрюшу, «припадавшего к книжке», отдали в коммерческое училище. Это усилило вражду братьев к ребенку. Они давно подметили холодность к ним матери, её сдержанную страсть к Андрюше и не прощали ему ничего.

Андрюша лет двенадцати попал в театр случайно, – конечно, без ведома родителей. Попал на «Эгмонта» Гете, когда роль Клерхен играла Ермолова¹⁴, и этот вечер решил его судьбу... Он ещё не сказал себе ясно тогда: «И я буду актером!» Как звезда небесная, далекой казалась ему такая цель. Но он уже не видел жизни вне театра... Он скоро понял, что ничего не знает, что дом не даст ему ничего... И он читал тайком, жадно и беспорядочно. Впоследствии знакомство с студентами заронило в него надежду самому попасть в университет. Но театр оставался его Меккой.

Что было дома, когда узнали об его похождениях!.. Даже мать отеклась от него в первый раз, когда отец избил его до беспамятства. Анна Порфирьевна молилась всю ночь...

Но Андрюша боролся за свои мечты, за свою любовь... Он крался к матери, трепетным голосом говорил ей об «Эгмонте», об «Орлеанской Деве», о высоких чувствах, о светлых слезах, обо всем, что дал ему театр... Он читал ей стихи, полный истинного вдохновения... А она слушала, заперев двери, широко открыв темные, строгие глаза, наслаждаясь и страдая, и волнуясь от всего нового, запретного и таинственного, что вторгалось в её собственную душу... Она отрешивалась от этой «дьявольщины», но вся тянулась смотреть в это вдохновенное личико, слушать этот трепетный голос... Запершись по вечерам на своей половине, она говорила с сыном шепотом.

Иногда она так задумывалась, что даже не слыхала рассказов Андрюши... Ей вспоминалось другое лицо, странно похожее на мальчика: такие же золотистые кудри, такие же искрившиеся глаза... Вспоминался ей приказчик-сибиряк, мелькнувший, как красивый сон, в угрюмых сумерках её затворнической жизни... его пылкая любовь к красавице-хозяйке; удаль и размах его недюжинной натуры; его пение; его вдохновенная игра на гармонике, которая в его руках рыдала, смеялась и будила все мечты её молодости, так быстро смятые в браке с нелюбимым пожилым человеком, так безжалостно раздавленные в суровом служении долгу.

Он купил ее, неподкупную. Грех свершился... И так страшно легко!.. Точно по дороге лежавшее поднял он, случайный прохожий в её жизни, её сердце, – казалось, закаленное... На самом деле готовое на все по его первому взгляду.

«Дьявольское наваждение»... – говорила она себе не раз потом, тщетно стараясь понять всю легкость этого падения.

Счастье было мимолетно... Виновник его исчез бесследно. Ходили смутные слухи, что он был зарезан по дороге из Сибири в Москву. С ним пропал не один десяток тысяч хозяйских денег... Это случилось за полгода до переезда Тобольцевых в Москву. Андрюша, ещё не рожденный матерью, уже взял всю её душу.: Она хорошо знала, чей это сын...

¹³ На Рогожском кладбище имя их пользовалось уважением. – Своеобразный «монастырь» в южной части московского Рогожского старообрядческого кладбища (основано в 1771 г.) стал одним из центров русского старообрядчества.

¹⁴ М. Н. Ермолова (1853–1928) – великая русская актриса. Играла в Малом театре. Прославилась в ролях трагического репертуара (Клерхен в драме И.-В. Гете «Эгмонт» (1788), Иоанны Д'Арк в романтической трагедии Ф. Шиллера «Орлеанская Дева» (1801))

И теперь, слушая рассказы мальчика, она переживала свое грешное, безумно яркое счастье. Она узнавала старые чары. Она опять подчинялась гипнозу этой захватывающей душевной шири, этому размаху чувств, недоступному дюжинным натурам.

А ночами, упав на каменный пол своей молельни, она старалась замолить свой грех. Она просила сурового Бога не карать за её вину страстно любимое дитя.

Много колотушек видел Андрюша; немало вынес он от отца страданий, преследований и истинного, недетского горя из-за этой поглощавшей его всего страсти к искусству...

Но отец умер.

Тобольцев в то время, кончив курс в коммерческом, сделался вольнослушателем Московского университета. В землячестве он встретил Степана Потапова и сразу влюбился в эту оригинальную натуру.

То был расцвет «марксизма»¹⁵, его теоретического обоснования, его полемики с «народничеством». Но мелкие души не могли удовлетвориться «самоопределением» и выработкой миросозерцания. Беззаветно отнялись они практической деятельности. Степан Потапов был пламенным агитатором, и вокруг него сгруппировались тогда все молодые силы.

Тобольцев, однако, недолго работал в партии. Его артистическая натура искала других эмоций, Но он умел иным путем оказывать поддержку товарищам, устраивал спектакли в пользу партии, собирал для неё деньги, делал у себя склад «нелегальщины», давал приют эмигрантам... Он сделал ещё больше. ещё подростком он умел найти доступ к сердцу матери той стремительной страстностью, с какой он, не считаясь с её миропониманием, открывал ей собственное сердце, не пугаясь её ужаса, её отвращения; вступая в смелый бой с её предрассудками за все, что было для него дороже жизни. Он сумел примирить её со своей страстью к искусству и даже сделать её своей заступницей перед тупым и жестоким отцом. Так же упорно взялся Тобольцев за трудную задачу: примирить Анну Порфирьевну с своим новым миросозерцанием. Само собою разумеется, что победа не далась бы ему так быстро, если бы в душе матери он не нашел готовую почву для брошенных семян. Жизнь в Сибири; постоянные встречи с ссыльными; общность ненависти и общность судьбы; гонения и кары – всё это была богатая нива для новых всходов. Тобольцеву осталось только разбудить воспоминания в страстном сердце фанатички.

– Пламенная душа у твоей матери! – говорил Тобольцеву Потапов. – Жаль, что родилась она так рано!.. Такие натуры в нашем деле незаменимы... А ты, Андрей... тово... блестящим адвокатом оказываешься? Чуешь аль нет, к чему это тебя теперь обязывает?

И года не прошло, как Анна Порфирьевна передала Андрею из рук в руки, тайно от сыновей, несколько тысяч рублей.

Как часто случалось, что Тобольцев, по смерти отца живший отдельно от всей семьи, являлся неожиданно к ужину, в Таганку, веселый, как всегда. Но по тревожному блеску его глаз мать догадывалась... Покончив с ужином, она вела сына наверх, на свою половину.

– Ну, что ещё случилось? – спрашивала она шепотом, тщательно заперев все двери. – Уж вижу, что стряслась беда... Говори!

И он рассказывал, что находил нужным.

– Давай спрячу! – раз предложила ему сама Анна Порфирьевна. – У меня никто не найдет.

Он с восторгом поглядел в её прекрасное лицо, тонкое и темное, как у византийской иконы. Этого он не ожидал, а сам просить не посмел бы.

¹⁵ Это был расцвет «марксизма»... – Имеются в виду 90-е гг. XIX в., когда революционные и «легальные» марксисты совместно боролись с общим противником – идеологией народничества и др.)

– Маменька, вы у меня клад! – сказал он, взволнованно целуя её руку. – И знаете, маменька, я открытие сделал... Ха!.. Ха!.. Я догадываюсь, что вашей душе только двадцать лет...

Тобольцев скоро познакомил мать со своим «учителем жизни». Анна Порфирьевна страстно ревновала сына и сначала сторонилась от Потапова. Но и года не прошло, как она сама подпала под его обаяние.

– Красивая натура твоя мать, – говорил не раз Потапов Тобольцеву. – Такие женщины только в нашем народе рождаются... Посмотри, как она терпима, чутка и как тонко умеет разбираться! А ведь прошла, мимо жизни... И всю юность сидела впотьмах. Жалость какая!.. И что ты любишь её так сильно, я вполне понимаю...

А ей он один раз признался:

– Я вообще высоко ценю женщин, Анна Порфирьевна. Но вы – единственная, которую я люблю.

Через какой-нибудь год они оба уже так уверовали в эту новую союзницу, что тащили к ней все, что боялись держать у себя. И теперь даже разрешения не спрашивали, а прямо приносили и сдавали. И никто в доме, кроме Анны Порфирьевны и нянюшки, не знал, зачем приходила молодежь и что хранилось в глубоких кладовых староверческого дома.

Никто так не радовался сближению Анны Порфирьевны с Потаповым, как сам Тобольцев. Но этот факт он, как и все в жизни, оценивал с эстетической точки зрения. В общении этих двух натур он находил элементы красоты.

«В тебе есть что-то романтическое, Стёпушка, говаривал часто Тобольцев. – Тебя бы в герои романа живьем взять!»

Сибиряк и казак родом, Потапов кончил в Красноярске гимназию с золотой медалью, но медали не получил И в Томский университет его не приняли. Единственный сын у родителей, он поссорился с ними и без копейки денег, работая по дороге, где таская на баржах кули, где справляя батрацкую работу за ночлег и хлеб, добрался-таки до Москвы и поступил вольнослушателем в университет.

По предложению Анны Порфирьевны, он приписался в её конторе приказчиком; от жалованья отказался, жил посторонними заработками и только изредка заглядывал в склад Тобольцевых. Но охотно брал на себя разные поручения, сопряженные с поездкой в Сибирь и разъездами по провинции. Анна Порфирьевна доверяла его способностям. За эти «деловые отношения» он всегда сам назначал вознаграждение, потому что время свое ценил. Анна Порфирьевна никогда с ним не торговалась. И жить он мог бы, собственно говоря, «барином», но на самом деле жил убого. Где-то на Замоскворечье, в пятом этаже гостиницы, под крышей, он нанимал номер в десять рублей. И было там три стены, а вместо четвертой – крыша дома шла наклонно, образуя нишу в виде острого угла. Получалось впечатление не то крышки гроба, не то одиночной кельи в Бутырской тюрьме. Это была настоящая мансарда, где ходил ветер, где нельзя было выпрямиться, не ударившись головой о крышу. Поэтому огромный Потапов, входя в номер, садился потурецки на пол; стол и постель устраивал у более высокой стены, а в нишу складывал книги, свое единственное имущество. Впрочем, он скоро, по случаю, приобрел старый, рыжий чемодан для рукописей и книг. И очень им гордился.

– Как можешь ты тут жить?! – спрашивал Тобольцев.

– Эх, ты! Маменькин сынок! А в тайге бродяжничать, думаешь, слаще?

С каким умилением вспоминал впоследствии Тобольцев эту клетку, где впервые проснулась и забила его собственная душа! Что за жаркие речи до зари говорились в этой мансарде! Чего только не извлекали из недр чемодана!

– Это твоя Алладинова лампа, купеческий сын, – смеялся Потапов. Не будь я, погиб бы ты в лабиринте жизни.

Долго боролся Потапов с этой страстью к искусству, которую не мог вытравить из души Тобольцева!

Сам Потапов никогда, по принципу, не ходил ни в театр, ни в оперу, ни на картинные выставки.

– Что не для народа, то не для меня, – решил он раз навсегда. – Да и зачем я буду время тратить Ту же пьесу всегда в печати прочту, коли она того стоит.

– Да разве это то же самое? – возмущался Тобольцев. – Другой артист так осветит роль...

– Ишь ты! Артист, полагаешь, умнее меня будет? Да на какого дьявола мне эти роли и типы? Ты мне идею подай! А коли нет ее, то я и читать не стану.

Тобольцев огорчился этой нетерпимостью.

– Даже Белинский и Добролюбов считали театр школой, – напоминал он.

– Эва! Полвека-то назад! А по-твоему, жизнь вперед не ушла? А отразилась ли она своими яркими сторонами в искусстве вашем? Да и что позволяют сказать со сцены?.. Что в сороковых годах было запрещёно, то и сейчас в силе осталось для театра Читал и это, брат! Словом, мертвое царство... Да и у артистов твоих, и у художников нешто есть душа: Нету! Потому – пар у них вместо души!.. Ха!.. Ха! Смотри, Андрей, как бы и у тебя она не выдохлась.

– Это возмутительно! – говорил Тобольцев.

– Ладно, возмущайся!.. ещё при Цезарях, Людовиках да Борджиа повелось так, что художники твои да артисты подделывались под вкусы и требования покровителей...¹⁶ Гением перерастали меценатов, а из заколдованного круга общественного мнения вырваться все-таки не могли... И новых идеалов миру не указывали... Где они, новаторы?.. Сожгли ли хоть одного артиста на костре за ересь, как Джордано Бруно или Галилея? И на всех современниках тяготеет это наследственное проклятие... Да это и последовательна с их стороны. Революция убьет искусство... И революция артистам не нужна...

Но, как ни старался иронизировать Потапов, ой все-таки был «неравнодушен» к «Андрюшке». Как-то раз объяснился в следующей форме:

– Долго разбирался я, что меня к тебе влечет, «эстетик» ты несчастный!.. Почему эта слабость непростительная у меня к тебе?.. Ведь ты, в сущности, мой первый компромисс в жизни, – раздумчиво и мягко говорил Потапов, разглядывая свои большие белые руки словно их раньше не замечал.

– Так-так... – соглашался Тобольцев, с заблестевшими глазами, а у самого дух захватывало от торжествующей радости.

— Ну вот в одну из бессонных ночей я этот вопрос решил. Моя к тебе люб... привязанность там, что ли?.. Это в сущности, та же потребность в счастье, всякой твари присущая... Другие, там, в баб влюбляются, ты театру душу продал... кто вину предался, кто в карты дуется ночи напролет... А ты для меня...

– Вино, карты, эстетика и компромисс! – крикнул Тобольцев и радостно расхохотался.

– Все, брат, в мире старо, – продолжал Потапов с какой-то виноватой улыбкой. – И знаешь? Я этого классического эстета, императора Адриана, тоже понимать начинаю...

– Ах, интересный человек был! Какая сложная душа!

– Что его любовь к Антиною¹⁷ приняла извращенные формы, это дело эпохи и нравов... Но я понимаю его, что он, тоскуя или утомившись, от одного вида Антиноя отдыхал душой...

¹⁶ ещё при Цезарях, Людовиках да Борджиа повелось так, что художники твои да артисты подделывались под вкусы и требования покровителей. – Перечислены наиболее известные в истории правители-меценаты. Людовики – французские короли из династии Валуа и Бурбонов. Борджиа – аристократический род, игравший значительную роль в истории Италии XV – нач. XVI вв.

¹⁷ Антиной – любимец императора Адриана, в 130 г. н. э. утонул в Ниле. В его честь был основан г. Антинополь, сооружен храм, изваяны статуи. Его красота считалась идеальной.

– И ты, Стёпушка, у меня душой отдыхаешь? – сорвалось у Тобольцева теми звуками, с такой нежностью, с какой никогда он не говорил с женщинами. – И я для тебя, выходит, олицетворяю красоту с которой ты так воюешь?.. Лестно, черт возьми! Ой, возгоржусь!

Потапов с необъяснимым выражением восторга и печали глянул в лицо Тобольцева, и вздох вырвался из его груди.

Часто впоследствии Тобольцев с сладкой грустью вспоминал об этой минуте... И сердце его билось, как никогда не билось оно ни раньше, ни после от воспоминаний о женской любви.

Когда дела Потапова «расширились», по его выражению, он зажил «паном». То есть переехал из мансарды на квартиру, в захолустье, где-то у Антроповых Ям. Он платил за комнату двенадцать рублей, но она была огромная, в три окна. «Салон», – смеялся Потапов... Правда, зимою по углам в ней выступал снег и стекла промерзали. А железная печка и плохая голландка¹⁸ не давали выше одиннадцати градусов температуры.

– Зато воздуха и света сколько угодно! – говорил Потапов.

– Даже чересчур много! Прямо в Якутской области себя чувствуешь... – подхватывал Тобольцев.

– А что ж? И это имеет свою хорошую сторону. Подготавливает... А мне, сибиряку, не к лицу нежиться Вот что!

Мебели в салоне Потапова почти не было, если не считать предметов первой необходимости, и комната казалась пустой. Зато всюду горами лежали газеты журналы, книги. Читал он много, исключительно по социологии и политической экономии; Маркса знал, как псаломщик свой требник. Слыл за сильного оратора, посещал все заседания сельскохозяйственного общества, все студенческие сходки. Но для натуры как Потапов, деятельной и страстной, несмотря на наружную флегму, трудно было удовлетвориться рефератами и полемикой. Поэтому в ту памятную зиму когда Потапов жил у Антроповых Ям, они видались с Тобольцевым нечасто... Слишком разными интересами были полны их души. Да и Потапов нередко уезжал из Москвы. Пропадал, никто не знал куда и зачем. Но всякий раз встреча была праздником для обоих.

В тот памятный год, чаще чем когда-либо, Тобольцев, рискуя «собственной шкурой», выручал Степана перед обысками.

– Богатая у тебя натура, Андрюшка! – сказал как-то раз Потапов. – И сколько в тебе противоречий уживается! Шут тебя знает! Такая любовь к жизни с одной стороны, и эстетизм, и черт его знает что! А рядом дерзость поразительная... Какое-то красивое презрение к этой самой жизни и её благам...

– Браво, Стёпушка! Да у тебя вырабатывается стиль?!

– Ну, да чего там... стиль! Очень нужно...

– Ошибаешься, Стёпушка! Есть одна картина в перспективе, которая меня повергает в малодушную дрожь...

– Да ну?.. Какая же это картина?

– Клопы, Стёпушка, клопы таганской тюрьмы, которых – мне не миновать, потому что ты меня всегда подводишь...

– Шут гороховый! – октавой молвил Потапов.

– Верно богатырь мой, Стёпушка! Требуй подвига, хватит силы и дерзости! Дайте врагов, не дрогну... А перед клопами – пасую... Вся моя душа «эстетика» содрогается. А ведь твое медвежье сердце не сожмется, когда они начнут меня грызть...

Потапов весь трясся от смеха.

– Эх Андрей! Пусть бы лучше тебя клопы съели, чем сцена!.. Будь она проклята! – вдруг страстно сорвалось у него. – Боюсь, что ты и в политике останешься таким неё дилетантом, как в твоих увлечениях бабами и театром... И в результате твоей жизни будет нуль...

¹⁸ Голландка – комнатная изразцовая печь.

– Аминь! – мягко подхватил Тобольцев. – Проживу шибко, сгорю быстро... И прекрасно! ещё Шиллер сказал: «Das Leben ist die Fülle, nicht die Zeit!..» То есть: «Жизнь измеряется не годами, а полнотой ощущений...»

Потапов был, действительно, богатырь и «красота»... Громадного роста, статный и сильный. И было что-то медвежье в его фигуре, в походке с перевальцем, в большой кудрявой голове с русой бородой, в его волосатом кулаке и музыкально могучем басы. Чувствовались мощь казацкой крови и ширь сибирской тайги. Тобольцев казался перед ним жиденьким.

– В тебе есть что-то стихийное, Стёпушка! – не раз говаривал Тобольцев, любуясь другом, как художник прекрасной моделью. – Имей я талант скульптора, я сделал бы с тебя статую Стеньки Разина. Таким я себе его представляю, и тогда обаяние его становится мне понятным... Я просто влюблен в тебя! И будь я женщиной, красавицей, аристократкой, я бы всем пожертвовал с радостью, чтоб тебе самовары на Антроповых Ямах ставить и дыры твоего костюма штопать. И в этом особое сладострастие находил бы... И неужели, Стёпушка, ни одного романа?

– Эка пар в тебе играет! – подсмеивался Потапов – Это тебе ведь без бабы дня не прожить. Ну, и обнимись с ними! А всех по себе не суди...

– Ой боюсь, Стёпушка, что в один прекрасный день, неожиданно для самого себя, сойдешься ты с какой-нибудь огородницей... Привяжешься, да и кончишь браком... Трудно без личного счастья... Ишь у тебя тело-то какое богатырское!

– А если и так, тебе какое дело? Я женюсь, а не ты. На барышне-то мне, видишь ли, не с руки будет жениться... Нынче здесь, завтра в Нарымском крае на полтора рубля казенных в месяц. Вот вся моя перспектива!.. Потому что я рылом не вышел до барского пайка. По крайности, жену в прачки определяю, с голоду не помрем! – смеялся Потапов, поглаживая русую бороду.

Но в лице Степана была одна особенность, странно нарушавшая цельность впечатления от его фигуры и голоса. У него был рот женщины, тонкий и нежный с алыми губами. Тобольцева невыразимо пленял именно этот контраст, эта нежная, почти женственная улыбка. Он говорил Степану:

– Как ни представляйся черствым, а твой рот тебя выдает. Ты – поэт в душе и бессознательный эстетик...

Так же оригинальна была и речь Потапова... Простонародная, без всякого старания с его стороны: «своя», как определял её Тобольцев. Грубоватая и неровна когда ничто его не захватывало, она резко менялась в боевые минуты и сверкала истинным вдохновением.

Тобольцев не раз слышал Потапова в такие моменты и признавал в нем неотразимого оратора.

– Ты создан для власти, – говорил он. – Ты прирожденный демагог¹⁹.

В тот год, когда Потапов и горсть таких же смелых фанатиков агитировали среди рабочих на крупных заводах обеих столиц, – русская интеллигенция увлекалась культом настроений, и в Москве входил во славу молодой Художественный театр²⁰.

Он явился, действительно, вовремя, когда замерла общественная жизнь и на поверхности её стояла мертвая зыбь. Но сложная душа современного человека тосковала и билась в поисках забвения и суррогатов «дела». Культ спорта был ещё во всей силе. В атлетическом клубе члены-студенты публично выступали на арене гимнастами и борцами, и женщины награждали их любовью и аплодисментами.

¹⁹ Демагог (греч.) – политический деятель, действующий в интересах народа.

²⁰ ...входил в славу молодой Художественный театр. – МХТ основан К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко в 1898 г.

– Тоже эллинам вздумали подражать! – ворчал Потапов. – «Возвращение к античным идеалам»... черти полосатые! Как будто греки ничего, кроме олимпийских игр, не создали!

Талантливые натуры мучительно искали новых путей в искусстве. Как грибы вырастали всюду «Общества любителей сцены». Молодежь стремилась в консерваторию, в филармонию, на драматические курсы. В университете быстро образовались любительские кружки, упражнявшиеся в Романовке. Тобольцев стал членом одного из кружков и начал играть.

Сбылась греза его детства... Но это ещё не давало удовлетворения. Он был недоволен рутинной постановкой дела, выбором пьес, халатным отношением любителей к искусству. С волнением следил он за ростом Художественного театра. Все было в нем мило и близко душе Тобольцева: его поиски нового, его культ настроений, его вражда к рутине, даже его заблуждения, даже его ошибки... Тобольцев ждал...

Но вот однажды вечером он увидел на сцене Художественного театра «Одиноких» Гауптмана²¹. И чуть не заболел от потрясения. «Вот что мне нужно!» – сказал он себе.

Создать в провинции подобие такого театра, обновить сцену, быть антрепренером и режиссером собственной труппы, душой её и мозгом – это сделалось его мечтой.

Как-то в самый разгар успехов Художественного театра поклонники его задумали поднести ему адрес. Тобольцев с жаром кинулся собирать подписи.

Он вернулся домой в десять вечера, измученный, голодный, но сияющий. В день он «нахватал» сто сорок три подписи.

Жил он в то время «барином», один, в гостинице «Петергоф» на Воздвиженке, платил сорок рублей за номер.

– Разве есть кто-нибудь? – спросил он швейцара внизу, не найдя своего ключа на доске.

– Точно так-с... Два часа вас дожидаются... Купец один... Высо-окий... – улыбнулся швейцар, уважавший тароватого жильца.

Ага, – радостно догадался Тобольцев и побежал наверх, шагая через две ступеньки на третью... – Стёпушка! – крикнул он, вбегая. – Сердце чувствует, что это ты!

В комнате было темно. Свет падал только с улицы.

С дивана поднялась огромная фигура. Гость, очевидно, лежал и вздремнул в потемках. Теперь он сел, сладко зевая, на трещащий под ним диван. А Тобольцев бросил папку на стол, упал рядом и обнял шею Степана.

– М-м... что ты... тово... мм... взбесился, что ли? – флегматично, продолжая зевать и мычать спросонья, осведомился Потапов.

– Откуда, Стёпушка?

– Спроси ветер в поле, откуда он дует, – могучим и гармоничным, как звуки виолончели, басом ответил гость.

– Ух! Как таинственно! – расхохотался Тобольцев и забежал по комнате, потирая руки.

Потапов потянулся так, что кости у него хрястнули.

– Романтик! – кинул он с добродушным презрением и вкусно зевнул. – А сладко я тут, у тебя, выпался, в жарком климате! Словно бы даже деморализовался... тово... Да и, вообще, Андрей... Испортил ты меня! Тоскую я по тебе, словно пьяница по рюмке...

– Красоты захотелось тебе, Стёпушка? ещё бы!

– То-то... красоты! Не тово... не вовремя оно... Урвался насилу... Да уж очень устал! Дай, думаю, повидаю...

– Свой «компромисс»! – подсказал Тобольцев и позвонил. Но возбуждение и темперамент не дали ему дожидаться прихода прислуги. Отворив дверь, он крикнул на весь коридор: – Василий! Скорей! – И опять нажал пуговицу звонка.

²¹ ...увидал на сцене Художественного театра «Одиноких» Гауптмана. – Драма Г. Гауптмана «Одинокие» поставлена в МХТ в 1899 г.

Потапов следил за ним с восторгом, действительно как-то отдыхая всеми нервами в этой красивой, теплой комнате, где так хорошо пахло дорогим мылом, духами и сигарами.

– Дай-ка папиросочку! – Он затянулся с наслаждением.

Тобольцев зажег две лампы, заказал самовар, пару пива и послал лакея на извозчике к Белову за холодным ростбифом, ветчиной, икрой и лафитом.

– «Вожжа под хвост попала!» – грубовато, по обыкновению, определил Потапов. – Эка, дешево у тебя деньги-то стоят!.. А впрочем, я рад... Я что-то давно толком не ел.

– То-то!.. И я, признаться, отобедать не успел...

– Что так? – Синие глаза Потапова засияли добродушной насмешкой. – И то сказать! Какому счастью то бишь, какому ветру?.. А, шут! Как это говорить у вас принято?.. Чему, словом, обязан, что ты нынче дома, а не... «запузыриваешь» где-нибудь?

Тобольцев рассказал про адрес, про свои хлопоты...

– «Энергия бездействия», как говорил Щедрин. Надо уж такую уйму сил ухлопать! Ну и что же?

Тобольцев радостно выхватил последний лист из папки, обмакнул перо в чернила и поднес его гостю.

– Стёпушка! Красавец... Подпишись!

Потапов поглядел на руку с пером, потом на лоб приятеля.

– Аль ты выпил, паренек? Кому ты это предлагаешь?

Тобольцев вспыхнул.

– Студенту Московского университета... Развитому человеку, каким, надеюсь, и ты себя считаешь!

– Надейся! – грубовато-добродушно протянул Потапов, но мягко отстранил руку товарища. – Я вчера писателю-народнику адрес подписал по случаю юбилея. Чту заслуги, хотя и противником считаю... А, по-твоему, это можно совместить? Нынче один адрес, а завтра другой? Вали в одну кучу, там разберемся... Взыграл в тебе пар, вижу, Андрей! Муха тебя заешь!

И он вдруг залился каким-то тонким, детским почти смехом, который от контраста с его фигурой производил странное впечатление. Трудно было не засмеяться, глядя на него. Но Тобольцев стоял нахмуренный, покусывая ручку пера.

Вошел коридорный, внес самовар и закуски. Подавив вздох, Тобольцев угощал товарища. Они чокнулись и выпили, глядя в глаза друг другу.

Потапов ласково улыбнулся и покрыл волосатой, большой, но красивой рукой тщательно выхоленные пальцы товарища.

– Не сердись на меня, Андрей! Право, мне нелегко тебе в чем-либо отказывать... Но ведь и ты хорош гусь! Ха... Ха!.. Моментом слабости хотел воспользоваться...

– Вздор какой! Неужели ты это серьезно?

– Ну, ну! Налей-ка ещё винца... И скажи, на кой ляд тебе моя подпись понадобилась? Завтра в университете ты их сотню наберешь в полчаса...

– Знаю! Но всю эту сотню я отдал бы за один росчерк твоего пера! – страстно сорвалось у Тобольцева.

Тонкая усмешка прошла по алым губам Потапова. Он прищурил один глаз и стал на свет смотреть вино.

Тобольцев вдруг обиделся.

– Ну, чего усмехаешься, Степан? Я уж по выражению твоего лица вижу, что тебе хочется спросить: «А из какой роли ты это жарить?» Как будто уж действительно, участвуя в этом пошлом кружке нашем, полном одних бездарностей да раздутых тщеславий, я утратил способность искренно говорить и чувствовать!

Лицо Потапова вдруг стало серьезным. Он высоко поднял брови.

– Что за ересь такая?! Почему пессимизм?

Тобольцев, волнуясь, начал объяснять ему, какой переворот в его понятии о сцене внесла эта группа талантливых новаторов, создавших Художественный театр. Они дерзнули отвергнуть шаблоны, кристаллизовавшиеся и омертвевшие формы искусства; они сумели найти новые выражения в передаче чувств, новые способы воздействия на толпу, новую красоту... и властно воссоздать настроение, которым проникались, творя, Ибсен, Гауптман, Чехов, Метерлинк...²²

– Исчезают монологи, герои и героини, вокруг которых, как на оси земля, вертелась пьеса старого типа... Исчезают Стародумы и резонеры²³, морализующие проповедники, являющиеся под конец пьесы объяснить публике то, чего она не сумела пережевать сама... Исчезает оркестр, скоро не будет суфлерской будки. Бесполезны кричащие эффекты... Всюду полутоны, недомолвки, коротенькие фразы... Загадки, брошенные, как у Ибсена, вскользь, усталым голосом.

Театр сумеречных настроений... Да, это так! Получа-;, ется, как в жизни, не условная красота рамп, а веяние тайны... Какая-то красивая печаль далекой грезы у камина, в осенний вечер... Или чувство, с каким ты смотришь на гаснущий закат... Ах, эти «Одинокие»! Эта идеальная пьеса будущего! Все, что она мне сказала... что подняла в моей душе! А «Ганнеле»? А «Потонувший Колокол»?²⁴ И ты хочешь, чтоб я не поклонился в ноги этим людям, которые дали мне новый мир наслаждений?!

– Ну и кланяйся! Никто тебе не мешает... Зачем меня-то волоком на поклон волочить? Но не забудь, что таких, как ты, завсегда-то этого «Недоступного»...²⁵

– Общедоступного...

– Врешь! «Недоступного», говорю, театра – много-много, тысяч двадцать по всей России. А народа, который о нем и слыхом-то не слыхал, сто с лишком миллионов!

Тобольцев схватился за голову и забежал по комнате.

– Ну! Что ты мне на это можешь возразить: – торжествующе спросил Потапов, с размаха ставя на стол пустой стакан.

Тобольцев сделал жест безнадежного отчаянья.

– Ничего!

– То-то!..

– Что же можно возразить против такой истины?

Но я даже и возражать не хочу!.. Из-за того, что мужик голодает, я не лишаю себя обеда. Пойми, – кричал он, глядя на Потапова пылавшими глазами, – пойми, что я не могу жить без тончайших радостей... Лучше петля!.. Из-за того, что у мужика, к несчастью, да... да... я этого не забываю прибавить, к несчастью, ещё нет потребности в красоте, я не могу её лишиться!.. За что? Разве я их держу голодными и впопыхах?

Потапов свистнул.

– Чем я виноват, что у меня нервы другие, что я культуры хлебнул?.. Неужто все опять насмарку из-за того, что они даже грамоты не знают?

Потапов сделал широкий жест над скатертью, как бы смахивая с него и вина, и закуски, и самовар.

²² воссоздать настроение, которым проникались, творя, Ибсен, Гауптман, Чехов, Метерлинк... – Ибсен Генрик (1828–1906) – норвежский драматург; Гауптман Герхард (1862–1946) – немецкий драматург; Метерлинк Морис (1862–1949) – бельгийский писатель и драматург. Их пьесы составляли основу репертуара МХТ 1890–900-х гг.

²³ Исчезают Стародумы, и резонёры... – Резонёр {фр. *raisonneur*} – сценическое амплуа, актер, исполняющий роли рассудочных людей, склонных к назиданиям. Например: Стародум – персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

²⁴ «Ганнеле» (1892), «Потонувший колокол» (1896) – «неоромантические» пьесы Г. Гауптмана, соединяющие натуралистические картины быта с мистикой и фантастикой.

²⁵ «Недоступного»... Общедоступного... – Высокие цены на билеты и большая популярность МХТ вызвали у современников шуточное обыгрывание его первоначального (до весны 1901 г.) названия «Художественно-Общедоступный театр».

– Все! – мощным басом, с неожиданной страстью рывкнул он, и синие глаза его сверкнули, и дрогнули его широкие ноздри, обнаруживая внезапно его настоящую натуру. – Все к черту! И культуру, и тончайшие ощущения, и Гауптмана твоего, и Чехова... все!.. Впрочем, виноват... Гауптман написал бессмертную вещь – «Ткачи»!²⁶ Я её читал один ночью поплакал... Я её читал рабочим, и те тоже плакали...

– Вот видишь! – крикнул Тобольцев и подскочил к самому локтю приятеля. Но тот слегка повел рукою и отстранил его с тем же великолепным жестом презрения.

– Ничего не вижу! Или, вернее, вижу, да не то, что ты, господин эстетик... «Ткачей» – то я читал, да на сцене-то их не было... Да и будут ли? Да и что от них тогда останется? Это раз... А потом читал-то я их не культурным людям... «с нервами» (неожиданно передразнил он интонацию Тобольцева), не завсегдатаям Художественного театра, а рабочим... Это два... Понял?... Ставить «Ткачей» для расфуфыренных барынь, для господ литераторов и купцов первой гильдии – это разврат. Дай мне завтра народный театр, да не такой, где за двугривенный серебра те же мещанки во дворянстве заседают, которые в Художественном два рубля за место платят; не тот театр, где простой народ за решеткой топчется, а настоящий народный театр... проникнутый демократическим духом сверху донизу... Тогда и я в него пойду, и я его признаю! И на адресе для такого учреждения я свою подпись первый поставлю! – Он стукнул кулаком по столу. – Понял?... Только и всего!

– А так как сейчас ни Метерлинка, ни того же Гауптмана и Ибсена народ не видит и не знает, то самое существование их и значение для культуры ты считаешь лишним?

– Эге, брат!.. Ты меня своей иронией с позиции не собьешь... Вот погоди, лет через десяток, что останется тогда от ваших «культурных затей»? ещё вопрос, кого читать будут, кого смотреть станут! Тогда, брат, иная мерка нужного и ненужного найдется... «И всякий из нас на свою полочку ляжет», как сказал Белинский²⁷.

Он положил локти на стол и продолжал возбужденно:

– Ваш расцвет искусства – это, собственно говоря, цветы на могиле. А под ними труп!.. Да, да! Нечего улыбаться!

– Нет! Это я сравнению твоему... Красиво!

– Ладно! Красиво ли, нет ли, а что верно, это так... «Когда замирают идеи, расцветает искусство»... Не мною эти слова придуманы. Историками и наблюдателями. Во Франции, в конце XVIII века, театры либо пустовали, либо были ареною для демонстраций. А тогда Тальма²⁸ жил... Не нашим чета! И он гражданином Франции был, и его сердце заодно с друзьями республики билось... Не то, что у нынешних, – пар играет... И играли-то они ни мало ни много – самого Вольтера. А вот в мертвую зону сороковых годов у нас балет процветал; Мочалов²⁹ вдохновлял Белинского; Тургенев да и все «общество» оперой итальянскою захлебывались... Вот и теперь опять задушили все живое в стране, зарыли в могилу и пышным цветом над всеми страданиями и жертвами двух поколений насадили театр... Я недаром всегда чувствовал, что гнилью, тлением несет от всех этих новаторов – могильщиков. Ищут «новых форм», «новых линий», «новых слов»... Эх! Мне бы дали волю... Сейчас упразднил бы все казенные театры: оперы, балеты, драму, школы, художников, субсидии, пенсии... Все к черту! В стране, где нет школ и больниц, где нет для черни государственных развлечений, не должны существовать на деньги народа дорогие удовольствия для господ!

²⁶ «Ткачи» (1892–1893) – драма Г. Гауптмана, посвященная восстанию силезских ткачей.

²⁷ «И всякий из нас на свою полочку ляжет», как сказал Белинский. – Неточная цитата из статьи И. С. Тургенева «По поводу „Отцов и детей“» (1869).

²⁸ Тальма Франсуа Жозеф (1763–1826) – великий французский актер, прославившийся в ролях классицистического репертуара.

²⁹ П. С. Мочалов (1800–1848) – знаменитый русский актер, представитель революционного романтизма. Лучшие роли создал в произведениях Шекспира и Шиллера. Играл в Малом театре.

– Ну вот! И договорились... Стало быть, в принципе ты театра не отрицаешь? Мне только этого и надо... Выпьем!

Они чокнулись вновь и молча ели ростбиф.

– И ведь какая зараза психическая! – вновь заговорил Потапов. – Как вглубь и вширь она расползается по стране! Могу ли я винить тебя, младенец, когда «столпы», седовласые старцы из-за деревьев леса не видят? Когда они целые трактаты о Художественном и казенном театрах пишут, пьесы критикуют, разбирают всерьез игру актеров?.. Спорят, видят «новые идеи, веяния»... ищут «истину»... в стакане с малиновым сиропом... А что шевелится там, внизу... что просыпается там, под нами... чем веет не с подмостков, а из жизни, – хоть бы кто заикнулся! У нас новый читатель родился, новый критик, ученик и судья... А кто о нем думает?.. Души пламенные проснулись в народе, глаза горящие со всех сторон на писателей глядят. С верою хлеба для души просят... А они им тот же малиновый сироп преподносят. Да и то издали... «Нате, понюхайте, голубчики, чем пахнет! Только вам не по рылу... Мы создаем „настроение... Мы культивируем тончайшие ощущения»... Ах, муха вас съест! Это что за гибель такая! (Потапов взъерошил шапку своих волос.) Все таланты кинулись драмы писать. Все за кулисами толкуются... Как будто на Руси больше и дела не осталось!.. Гипноз какой-то нездоровый... До чего дошло, Андрей!.. Помнишь, в Петербурге демонстрация была? Один приятель приезжал оттуда, рассказывал... Литератор тоже... Кинулись писатели в одну редакцию. Что за речи тут были! И программы-то... И резолюции... Он, как пьяный, оттуда вышел... «Буду умирать, говорит, этот вечер вспомню». – «А тот, – спрашиваю, – был?» – «Нет, говорит, не видел». – «Быть не может! – кричу. – А этот?» – «Тоже, говорит, не был... Многих не было»... Это «столпы» – то! Вожаки?.. А почему? Это, видите ли, совпало с приездом в Петербург Художественного театра. И все они были там...

– Ах, да! – вспомнил Тобольцев, и глаза его засияли.

– Верить ли? Я еле сдержался, чтоб не послать ругательные письма этим господам-литераторам... Они, видите ли, раньше билетами запаслись! Да плюньте на билет, коли так! Нашли время «настроениями» заниматься!

– Петербург тогда ничего не понял, – задумчиво заметил Тобольцев, отхлебывая вино. Потапов внимательно поглядел на приятеля.

– А ты уж совсем юродивый, Андрей, стал... Тебе про Фому, а ты про Ерему...

Тобольцев покраснел.

– Да нет, конечно... В такие дни я не оправдываю. Но... видишь ли? Они могли не знать, а билеты купили раньше...

– Вот-вот, именно! О том, что труппа едет, они за две недели узнали. А вот что демонстрация готовится, этого они не могли предвидеть... Черт её знает, эту интеллигенцию!.. Что за давка у кассы была! Что за хвост!.. Кто не достал, как искренно огорчался! всё это мне очевидцы рассказали. Вот тебе и единение с пролетариатом! Вот тебе и общность идеалов и целей! Знаешь, брат? У меня теперь доверия к интеллигенту вот настолечко не осталось!.. А уж излюбленный театр твой, – я так его ненавижу!.. Лучшее средство оболванивать людей... Какие там подписи?! Послал бы я им цидулю, всем этим новаторам, «общественным деятелям» (подчеркнул он с усмешкой), закулисным героям. Ну, да не стоит рук марать! Довольно о них! Аминь...

Он протянул свой стакан к Тобольцеву, чтобы чокнуться. Он заметно опьянел от вина и непривычной сытости.

После чаю он стал внезапно молчалив.

– Знаешь, Стёпушка? Ночуй тут, на моей постели!

Потапов не прекословил. Он вдруг как-то размяк и стал похож на большого и смирного ребенка.

Было уже два часа ночи. Молча он разделся, когда хозяин ему напомнил, что пора спать. А Тобольцев устроился на диване... Он ещё не погасил огня.

– Ах, муха тебя съешь! – вдруг раздалось ворчание из-за перегородки. – Что у тебя за роскошная постель! Долго ли демо... демора... лизо... ваться, живя таким сиб... сибаритом?

Тобольцев босиком пошел за перегородку. Потапов лежал на подушках. Белье у него было несвежее и ветхое. Он глядел на друга какими-то новыми глазами, покорными, точно глаза женщины.

Тобольцева что-то за сердце схватило. Никогда не мог он себе представить такого выражения у Потапова! Темное предчувствие чего-то грозного и неотвратимого словно толкнуло его к другу. Он сел на постель и обхватил его голову.

– Ну, что ты смотришь так, Стёпушка? – закричал он как бы в истерике. – Что ты чувствуешь?

Тебе ли, мне ли грозит что-то? Ах, не знаю!.. И мне стало жутко...

– Андрюша... Неужто ты изменишь себе?... Хотя бы в этом малом... чем ты мне дорог? – вдруг расслышал Тобольцев глухой шепот... Его глаза сразу стали влажными.

– Молчи!.. Молчи! – крикнул он. – Никогда не изменюсь... Нет у меня силы быть борцом, как ты, Стёпушка! Но никогда душа во мне не замрет... Никому я свободы своей не отдам... И коли понадобится, собой пожертвую во всякую минуту. Только кликни!.. Всем я обязан тебе... И от тебя и всего, что с твоим именем для меня связано, не отрекусь никогда!.. Вот тебе моя Аннибалова клятва...³⁰

Они крепко обнялись, в каком-то невыразимом экстазе...

Потапов встал в семь, при огне, разбудил Тобольцева и не согласился даже чаю напиться.

– Дело спешное, дело важное, Андрей! И ты меня лучше не держи, – сказал он решительным тоном. – Тут не самоваром пахнет. И не себя я одного подведу, коли опоздаю...

И опять он был большой и сильный, с холодным блеском в синих глазах. И нетто в его лице и голосе не выдавало слабости его в эту ночь... обычной человеческой слабости... «Обелиск! – с восторгом подумал Тобольцев. – Весь точно из одного куска гранита высечен...»

Потапов надел пальто, которое купил, поступив в склад Анны Порфирьевны, и которым очень гордился. Его глаза улыбались. Пожимая руку товарища, он могучим басом протянул: «Прощай, прощай, прощай!.. И помни обо мне!..»³¹

Даже стекла задрезбужали.

Тобольцев так и вскочил.

– Стёпушка, что это значит?

Он опять уловил необычайную вибрацию в этом голосе.

– Боже мой!.. Как это у тебя талантливо вышло, Стёпушка! Ни один актер не скажет...

Стараясь маскировать волнение, Потапов рассказал, как он год назад читал рабочим «Гамлета». Три вечера посвятили чтению.

– И неужели все понимали?

– А ты как думаешь?... Без комментариев все, если не считать исторической стороны, конечно. Вот тебе, Андрей, мое завещание: коли актером будешь, играй только на заводах да на фабриках. Более благодарной публики не найдешь. Да и свое дело облагородишь.

– А хорошо это у тебя выходило – «Быть или не быть?»

– Э, брат! Как выходило, так и выходило... Меня ведь не критиканы слушали. Слова не проронили... А вот удался мне лучше всего монолог отца ГамлетаТеии... Загудел, знаешь, я, как шмель, на всю комнату.

³⁰ Аннибалова клятва – клятва, которая не может быть нарушена. Происхождение выражения связано с именем знаменитого карфагенского полководца Аннибала (247–1821 г. до н. э.), поклявшегося перед алтарем всю жизнь быть непримиримым врагом Рима.

³¹ «Прощай, прощай, прощай!.. И помни обо мне!..» – Цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

И на них, представь, впечатление очень сильное произвел...

– ещё бы! – крикнул Тобольцев, и глаза его блеснули.

– Ну, так вот... Вспомнил я эти слова... А так как будущее нам неизвестно, вообще... поэтому... «Прощай, прощай, прощай!.. И помни обо мне!..»

И на этот раз голос его задрожал уже заметно.

Точно сила какая толкнула Тобольцева к Потапову. Они крепко обнялись.

И когда в коридоре замерли тяжелые шаги Степана, Тобольцева опять, как ночью, охватило предчувствие какого-то несчастья.

И предчувствие не обмануло.

Смелость и находчивость Потапова долго помогали ему лавировать между Сциллой и Харибдой³². Но наконец пробил и его час... Он был прослежен давно искавшими его сыщиками, когда агитировал на одном крупном заводе в Москве. Его арестовали и сослали в Якутскую область.

Тобольцеву это несчастье казалось непоправимым. Сам он уцелел случайно, только потому, что Потапов, давно подозревавший «слежку», прекратил свои визиты.

А утром, не успев Капитон Кириллыч заявиться в контору на Никольской, как нагрянула полиция и начался обыск.

С Капитоном чуть удар не сделался. Само собой разумеется, на складах ничего не нашли; из допроса хозяев и арестованных приказчиков (их выпустили на другой день) выяснилось, что Потапов сюда редко заглядывал. Тобольцевых больше не беспокоили. Но ужас, пережитый Анной Порфирьевной за эти трое суток, она никогда уже не могла забыть.

Тобольцев, по её просьбе, переехал домой, в Таганку.

– Вот тебе деньги, выезжай за границу, – сказала она ему через неделю. – Я уже все устроила. Паспорт тебе через два дня готов будет. Успокой мою душу! Ночей не сплю...

Ей не пришлось настаивать. Ехать за границу давно было заветной мечтой Тобольцева. И братья вздохнули свободнее, когда он уехал наконец. По волнению матери они догадались о близости Андрея к этому «прохвосту» и «разбойнику».

Жалели Потапова только Анна Порфирьевна и нянюшка, она не раз пролила слезу о «бедной сироте Стёпушке» Анна Порфирьевна нашла возможность снабдить Потапова большой суммой денег, накупила ему валенок, белья, плед, послала прекрасную шубу. Потапов был тронут до слез.

Тобольцев выехал прямо в Женеву, с рекомендательными письмами. Он побывал в Берне, в Цюрихе, в Лозанне – всюду, где бедствует, работает и грезит наша русская молодежь. Результатом этих связей было письмо Тобольцева к матери, где он просил выделить его немедленно из наследства и переслать его долю в заграничный банк.

– Пропадет, – решили братья. – Все на баб растратит!

Тобольцев вернулся через четыре года, и дома ахнули, увидев этого «барича» – европейца.

Но не менее чем внешним обликом, изменился Тобольцев и в другом. Он слушал лекции права и философии в немецких университетах; летом знакомился с заводами Бельгии и наблюдал жизнь рабочих в этих промышленных центрах. В лодке проехал весь Рейн; бродил по Тиролю и Альпам; пешком обошел всю Швейцарию, поднимаясь на высочайшие вершины к глетчерам и вечным снегам. Полгода он считался студентом Парижской высшей школы, не из-за науки, собственно, потому что там нечему было научиться образованному человеку. Но его интересовала сама аудитория, партии русской молодежи, их программы и их борьба. ещё охотнее посещал он в Париже клубы рабочих, секции народных университетов в Монмартре и

³² ...между Сциллой и Харибдой. – Нарицательное обозначение двух зол, одинаково страшных. В греческой мифологии Сцилла и Харибда – имена чудовищ, подстерегавших с обеих сторон пролива корабль Одиссея.

Батиньоле, митинги разных партий. Он наблюдал чужую жизнь, сам принимал в ней невольное участие, вырабатывал себе мирозерцание – на этот раз свое, а не чужое и навязанное извне...

«Расту, сам чувствую, что расту», – писал он матери, которая страстно ждала его писем и тайно плакала над ними. А писал он ей часто и откровенно. Ему по-прежнему доставляло наслаждение приобщать эту богатую натуру к сокровищам цивилизации; делиться с нею впечатлениями; разбираться вместе с нею в этом хаосе нахлынувших в душу новых чувств и новых веяний. Его письма напоминали дневник.

И Анна Порфирьевна скоро узнала, куда и на что ухнул его капитал... Она с ним заодно переживала все его увлечения. И она не осудила его. Для нее, «натуры не от мира сего», как её определил Пота по в, – деньги были всегда «делом наживным», а не целью жизни и культом, как для целого ряда её предков. И если она сокрушалась вообще, то лишь от страха за судьбу своего любимца. Этот страх, после гибели Потапова, отразился болезненно на всем её организме, наполнив её душу темными предчувствиями.

Но Тобольцев был прежде всего артист по натуре, и за границей искусство привлекало его сильнее политики. При нем в Вене ставили «Ткачей» и «Потонувший Колокол» Гауптмана. Он посещал в Париже «Свободный театр» Антуана³³, знакомился с великими артистами. В Дармштадте и Мюнхене он сблизился с художниками. Был в Байрейте на могиле Вагнера и в его театре; слушал «Парсифаля», «Тристана и Изольду»...³⁴ В Риме он бродил по форуму, с планом в руке, восстанавливая фантазией все эти развалины, с благоговением ступая по плитам древней мостовой. В Неаполе часами стоял пред Венерой Каллипигийской и за бешеные деньги купил её копию-миниатюру из каррарского мрамора... Италия очаровала Тобольцева, и он долго не мог расстаться с Флоренцией, этим городом цветов и радости.

Он сам чувствовал, как вырос, когда очутился наконец в своей родной Таганке, в огромном двухэтажном доме, где когда-то в девять часов спускали цепных собак и тушили огни... Какой темной, дикой и бесконечно жалкой показалась ему Таганка, его семья, уклады всей этой жизни – его родина!.. С какой болезненной жалостью обнял он мать, когда она кинулась ему на шею с воплем радости!.. Анна Порфирьевна «сдалась». Он это понял сразу.

Встречать его высыпала в переднюю вся родня: Капитон с женой и детьми, Николай и вся дворня. Но наверху, на лестнице, показалась женщина... Маленькая черная головка на высокой фигуре. Станные зеленоватые глаза... Дикая и пугливая, она исчезла мгновенно. Словно приснилась.

– Сказка... – прошептал Тобольцев. – Кто это маменька?

– Это Лиза... Жена Николая... Разве ты не получил письма?

Он промолчал, задумавшись внезапно, не расслышав вопроса. Наивный, непосредственный восторг, почти граничивший с ужасом... какое-то словно безволие перед стихийной, неосознанной страстью... да, он всё это прочел в незнакомом женском лице в одно короткое мгновение. И был потрясен.

«Эта встреча не пройдет даром...» – почувствовал он.

Наверху, у матери, он спросил, озираясь:

– А где мой портрет, который я вам из-за границы прислал? Не вижу его...

– Ах! В самом деле!.. Это все Лиза... Чудачка!.. Взяла показать кому-то, да и держит у себя... – И она нервно позвонила.

– Оставьте, маменька!.. Потом... – Его ноздри дрогнули, и в зрачках загорелся огонек. – Они давно женаты, маменька?

– Скоро два года.

³³ «Свободный театр» Антуана – первый в Европе некоммерческий демократический театр, организованный в Париже в 1887 г. Пропагандировал драматургию реалистического и натуралистического направления.

³⁴ «Парсифаль» (1877–1882), «Тристан и Изольда» (1857–1859) – оперы немецкого композитора Р. Вагнера (1813–1883).

– И дети есть?

– Нету... – Тень прошла по лицу Анны Порфирьевны. – Ну, Бог с ней! Расскажи лучше о себе.

Вошла горничная с низким поклоном и остановилась на пороге, вперив в Тобольцева яркие глаза.

– Федосеюшка, попроси Лизавету Филипповну портрет барина прислать, что у них на столе стоит...

Горничная вышла, опять низко поклонившись. Тобольцев засмеялся.

– Это что за схимница? Я вижу все новые лица... А красива!

– Это Федосеюшка. Никто лучше её за мной ходить не умеет... И массажистка на редкость. Анфиса стара стала...

– Стильная особа... А глаза как свечи, ярки...

Тобольцев с сокрушением разглядел в потемневшем лице матери следы развивавшейся болезни печени. Вдруг он спросил: «А что вам, маменька, о Потапове известно?»

Она вздрогнула.

– Ничего неизвестно... А что?

– Он на свободе. Бежал из ссылки... У меня есть письмо...

Она всплеснула руками, потом медленно перекрестилась.

Действительно, уже в Париже Тобольцев получил три месяца искавшее его по Швейцарии письмо, зачеркнутое и перечеркнутое, с знакомым почерком, от которого у него забилося сердце. Тобольцев ахнул, прочитав первые строки:

«Жив Курилка!» – писал Потапов, но не из Сибири, а из Твери, без подписи и эзоповским языком, что не помешало Тобольцеву понять главное: Потапов бежал. Но не за границу, по обычному шаблону его товарищей, на «вынужденное бездействие и самоагрессия», – а прямо-таки в разгар борьбы, на фабрику, куда он поступил под чужим именем. Сколько времени он сохранит свободу – неизвестно. Но дешево на этот раз её не отдаст! «Передай мой низкий поклон „искоркам“ от сибирского медведя³⁵, – кончал он. – Пусть поярче светят нам в ночи!»

С влажными глазами Тобольцев поцеловал письмо.

Но с тех пор много воды утекло, а о Потапове никто не слыхал... «На этот раз сгинул», – решил Тобольцев.

V

Анна Порфирьевна весь собственный капитал вложила в дело мужа и стала пайщицей. Годы шли, а капитал её рос. По смерти Кирилла Андреевича, хотя деньги его были поделены между вдовой и детьми, Анна Порфирьевна опять-таки, по воле покойного мужа, стала во главе дела и была богаче сыновей. И это обстоятельство, в связи с её властной натурой и загадочной сдержанностью в обращении с людьми, создало Анне Порфирьевне в семье исключительное положение. Сыновья перечить ей не дерзали. Они имели пай и получали жалованье от матери. Жен своих они тоже сделали пайщицами.

По возвращении «блудного сына» из-за границы, Анна Порфирьевна заикнулась было о том, что и Андрею надо бы дать пай, но встретила враждебный отпор. Тогда же она решила про себя завещать все, что имела сама, будущей жене Андрея и его детям. «Ему дашь семью по миру пустит. У него всегда УДет своя крыша раскрыта...» – соображала Анна Порфирьевна.

³⁵ «Передай мой низкий поклон „искоркам“ от сибирского медведя»... – Намек на первую общерусскую политическую марксистскую нелегальную газету «Искра» (1900–1905). В 1903 г. её редакция находилась в Женеве.

Итак, Тобольцев вернулся почти без гроша, к негодованию братьев. «Француз», У него не было теперь другой клички в семье. Братья боялись, что Андрей со своей стороны тоже станет домогаться новой доли в наследстве. Николай, плутоватый и ничтожный, совершенно подчинившийся Капитону, намекнул было, «что Андрей, в сущности, теперь – отрезанный ломоть... И что с возу упало, то пропало...». Но Тобольцев презрительно оборвал все эти подходы, объявив, что никаких претензий на наследство не имеет и что поступает на службу в ***банк.

Дело было за обедом. Вся семья до сих пор ещё жила в доме Анны Порфирьевны, причем она занимала одна весь верх, а внизу разместились Николай с молодой женой и Капитон с семьей. Тобольцев по возвращении жил первое время на половине «самой». А обедала и ужинала семья неукоснительно у матери, в огромной, мрачной столовой. Разговор этот вышел, следовательно, при Анне Порфирьевне и невестках... Братья, услышав гордый ответ Тобольцева, бегло переглянулись между собой, боязливо покосились на мать и потом стали глядеть на жен, как бы приглашая их быть свидетельницами данного обещания... Но напрасно искали они сочувствия у женского «сословия»...

Серафима Антоновна – Фимочка – жена Капитона, крупитчатая блондинка, всегда нарумяненная с утра, с подведенными бровями и накрашенными губками, ходившая в «разлтых» шляпах³⁶ и одевавшаяся по последней моде, была подкуплена с первого дня щедростью своего beau-frère³⁷, который привез ей в подарок воротник из настоящих венецианских кружев ручной работы. Она и раньше кокетничала с ним на правах родства. Теперь же она готова была за него всем «глаза выдрать»... Фимочка вообще была бедовая. Хотя она и робела перед строгой свекровью, но мужа своего третировала, когда у неё разыгрывались нервы. А это случалось всякий раз, когда ей требовалось новое платье или модная шубка. Капитон был скуп; деньги жены вложил в дело, и без скандала трудно было сорвать с него куш. Вся фантазия Фимочки была направлена на придумывание способов, как «нагреть благоверного». Он взял за неё всего двадцать пять тысяч приданого и считал, что берет бедную, что ему, как представителю такой солидной фирмы, можно было и подорожить... Да уж очень пленила его Фимочка, слышавшая красавицей по всей Зацепе! Пленила её сдобная красота, её развязные манеры, щегольство... Он жил в слишком суровой школе, слишком мало знал женщин, чтоб устоять перед натиском Фимочкина кокетства. Он и сейчас не охладил к ней, частенько ревновал её даже к собственным приказчикам. Но, огорчаясь её тратами, он не забывал попрекнуть, что взял её в дом почти ни с чем и что у него были блестящие партии.

– Ну что ж ты зевал, коли были? – возражала Фимочка. – И я бы за другого пошла, коли б знала, что ты такой ирод...

Уступив веяниям времени во всем, что касалось внешнего режима – в обстановке, costume, затеях жены, кончившей пансион с грехом пополам, – Капитон в душе был привержен обычаям старины и старался по возможности не отступать от традиций Таганки. Вставал он неизменно в шесть часов (Фимочка подымалась к одиннадцати); пил с матерью и Николаем чай при огне, в столовой; обедал в двенадцать. Впрочем, семейным обедом никто не смел манкировать. Анна Порфирьевна очень была довольна узнать, что и за границей все деловые люди обедают в эти часы и что от двенадцати до двух все присутственные места поэтому закрыты.

В четыре часа Капитон пил чай в конторе, с приказчиками (в складчину), всегда вприкуску, иногда со старыми баранками, которыми ни с кем не делился, даже с братом, и которые тщательно запирали в конторке. Пил помногу, по сибирской привычке. Магазин запирали в семь часов. Они с братом выходили из конторы последними, унося всю денную выручку, собственноручно оглядев ставни... В восемь ужинали дома, опять-таки всей семьей. (В сущности, это

³⁶ Разлтый (устар., простореч.) – расширяющийся кверху.

³⁷ Деверя (фр.).

был второй обед с горячим, с обилием мясного.) А в девять Анна Порфирьевна шла в моленную, оттуда на покой. Верх запирался, погружался во мрак, а внизу начиналась своя жизнь.

Оба брата страстно любили карты. Они ехали в клуб, изредка принимали у себя. Фимочка играла в стуколку³⁸ или тоже винтила³⁹ с азартом, Потом подавали роскошный ужин, с обилием закусок и дешевыми винами, в которых никто не знал толку и от которых Тобольцев приходил в ужас. Ели много, жадно; пили бестолково и некрасиво напивались. Женщины не отставали от мужей. Мужчины сквернословили. Дамы, в будуаре Фимочки, тянули ликеры и вперебой, с увлечением рассказывали скабрезные анекдоты. Разъезжались часто на заре. Николай, слабый и «подверженный к вину», как выражалась нянюшка, напивался до бесчувствия и засыпал тут же, на диване, одетым. Но в шесть часов Капитон уже будил его, и они ехали, сумрачные и зеленые, в контору.

Анна Порфирьевна делала вид, что не замечает жизни внизу. Но требовала, чтоб под великие праздники приемов не было.

«Какая убогая жизнь! – думал Тобольцев. – А они даже не задыхаются...» Но он ошибался. В этом доме было существо, которое задыхалось от убогой жизни и страстно грезило об иной...

Высокая, стройная, чернобровая Лиза, с смуглым худым лицом – «цыганка», как её прозвала нянюшка, – принесла с собой пятьдесят тысяч приданого, выйдя беспрекословно, по воле самодура отца, за некрасивого, сластолюбивого, вечно хихикающего и ничтожного человечка. Казалось, ей было все равно, за кого выйти, лишь бы вырваться из родительского дома, где мать пила запоем, а отец, озверев от тоски и горя, бил под пьяную руку всех, кто попадал ему на глаза.

Гордыни Лиза была непомерной. Молчаливая, почти угрюмая, за целый год замужества она ни с кем и семьи Тобольцевых не сказала и двух слов. Одна во всем доме она не боялась свекрови... Мужа она презирала. И презрения своего скрыть не хотела после того, как выгнала его из спальни в первую же ночь: брака. Когда же он, набравшись храбрости, пьяненький явился к ней требовать своих супружеских прав, её зеленые глаза вдруг засверкали. Она кинулась ему: на грудь, как кошка, и её тонкие пальцы судорожно вцепились ему в горло.

Он бежал позорно, сквернословя и грозя ей кулаками в бессильном бешенстве. Он пожаловался матери... Анна Порфирьевна вызвала к себе невестку целый час говорила с нею о Боге, о браке, о долге. Поджав тонкие губы, сдвинув тонкие черные брови неподвижно стояла перед нею молодая женщина и слушала, казалось, бесстрастно и покорно, не поднимая длинных черных ресниц. «Точно каменная...»

Когда Анна Порфирьевна истошила все свои доводы и смолкла, Лиза вдруг прерывисто вздохнула. С непередаваемой тоской глянула она в темный, прекрасный «клик» свекрови и сказала своим глухим голосом:

– Не люб он мне, маменька. Легче в могилу лечь, чем с ним сойтись. Разве знала я, когда замуж шла, чего ему от меня нужно?

– Так Бог велит!..

– Нет! – е неожиданной страстностью перебила Лиза. – Нет, маменька... Не пойду я на это... Я лучше руки на себя наложу, но женой его не буду...

Анна Порфирьевна в ужасе всплеснула руками.

– Что ты? Что ты?.. Замолчи... Опомнись!..

Но Лиза и так уже молчала, потупившись, опустив черные ресницы, поджав тонкие губы. И только острый подбородок ее, с маленькой черной родинкой, чуть вздрагивал от волнения.

³⁸ Стуколка – род азартной карточной игры.

³⁹ Винт – карточная игра, являющаяся смесью двух игр: виста и преферанса.

Анна Порфирьевна махнула, ей рукой. Лиза поклонилась в пояс и вышла бесшумно. А свекровь тяжело заплакала. Вспомнилась ей собственная юность; все, что дремало в душе и что всколыхнула эта несчастная Лиза. Ей было жутко.

Николай растерялся, когда мать передала ему результат переговоров. Он пробовал кипятиться, напоминал о законе, правах, грозил избить Лизу.

– Не тронь, говорю!.. Обожди, дай привыкнуть!.. Молода она ещё... Не знали мы её с тобою. Берегись, Николай! Ты не гляди, что она тихоня... Не вышло бы греха... Я в глаза ей поглядела, меня оторопь взяла.

– Чего же вы боитесь, маменька? Зарезать она меня, что ли, собирается?

Анна Порфирьевна ответила не сразу. И этого было довольно, чтобы зерно страха и ненависти к жене запало в его душу.

– Говорю, оставь!.. Может, и обойдется... в лета войдет.

– А мне как же прикажете?.. Женатому без жены жить? Ловко... Этакую кобылу необъезженную в дом взяли...

Глаза Анны Порфирьевны сверкнули.

– С кем говоришь?.. Забыл? – Но видя, что он виновато молчит и что задор сбежал с его растерянной физиономии, она добавила уже мягче: – А ты будь к ней поласковее... Когда – подарок, когда – доброе слово... Смотри, Николай! Коли сбежит она от тебя, я со стыда умру, помни!.. А тебя вся Москва засмеет...

Лиза так и устроилась с тех пор в своем «будуаре» (как выражалась Фимочка). Каждую ночь прислуга стелила ей на двухспальной кровати. Но она сама, дождавшись часа, когда дом погружался в сон, устраивала себе постель на кушетке, запиралась на ночь и читала до зари. Она целомудренно хранила тайну своих отношений от Фимочки и прислуги. Николаю же и самому было нелестно об этом рассказывать, и он покорился скрепя сердце. В сущности, они оставались чужими и через два года свадьбы. На деньги жены Николай предавался самому широкому разврату, когда находила на него такая полоса, но Лизу не трогал. Она внушала ему только страх.

С тех пор и Лиза стала как-то мягче со свекровью и Фимочкой; выходила к гостям, садилась винтить. Играла она рассеянно, проигрывала и выигрывала равнодушно. Когда все пили, пила и она. Но никто не замечал, чтоб на неё действовало вино. Разве иногда, слушая скабрёзные анекдоты в будуаре Фимочки, она начинала громко и долго хохотать. Но она никогда не уставала их слушать, как будто все порочное неотразимо влекло к себе это дикое и целомудренное существо.

Фимочка в промежутках между сном и едой гуляла в пассажах, прицениваясь бесцельно к товарам, или часами просиживала в магазине «Lyон»⁴⁰, смотря на модели, на заказчиц, изредка примеряя и заказывая сама. Она всегда брала с собой Лизу, которая на все глядела с той же загадочной безучастностью.

– Лиза, давай закажем платья!.. Одинаковые... Видишь, какие теперь юбки носят! – вдруг загоралась Фимочка.

– Ну, что ж?.. Закажем, – флегматично соглашалась Лиза.

Или:

– Ах, Лиза! Какую я шляпку видела в Столешниковом переулке! Знаешь: тут вот так... А тут этак. Перо наперед страусовое. Ты себе купи нынче, а я к своему ироду пристану, чтобы и мне такую же заказать... Поедем!

– Ну, что ж?.. Поедем, – бесстрастно соглашалась Лиза.

⁴⁰ ...в магазине «Lyон»... – Магазин галантерейных товаров Е. А. Лион на Кузнецком мосту.

У Лизы были всегда свои деньги. Это она выговорила перед свадьбой. Только часть капитала её была вложена в фирму Тобольцевых. Остальные она тратила бесконтрольно. Но Николай не беспокоился. У Лизы не было никаких желаний.

– Счастливица ты! – завидовала ей Фимочка.

Лиза широко открывала глаза, как будто хотела спросить: «Неужто в деньгах счастье!..» И потом усмехалась, не разжимая губ. Такая у неё была манера. Тогда её черные брови и острый маленький подбородок вздрагивали слегка, и вся она становилась женственнее.

– В тихом омуте черти водятся, – сказал как-то раз Тобольцев. Фимочка рассмеялась, а мать обиделась за Лизу.

Фимочка привязалась к Лизе. Она брала у неё займы без отдачи и целый день тормозила ее. Лиза подчинялась пассивно.

– Ты точно сонного зельяхватила. Влюбилась бы, что ли!

– В кого? – Не разжимая губ, Лиза усмехалась, и подбородок её с черной родинкой вздрагивал.

– Ах, уж и правда, что не в кого! В Поля Конкина разве? Парле франсе, – представляла она, подражая Конкину: – Альфонс Ралле, Брокер, шарман, фиксатуар...⁴¹ Ха-ха-ха!

Впрочем, и у Лизы была своя страсть, даже не одна. Она была религиозна до экзальтации. Особенно любила Лиза всенощную и заутреню, как и свекровь находя в этой обстановке необычную поэзию. Религия тайно роднила эти обе замкнутые натуры.

Затем книги. Лиза была записана в библиотеку по первому разряду и читала запоем, целые дни лежа на кушетке. Чтение давало ей суррогат жизни, которая шла мимо. Наконец она горячо любила детей Фимочки, к которым та была равнодушна. Лиза рассказывала им странные сказки, которые умела выдумывать, со страстью целовала их ручки, брала их с собою кататься, даривала их игрушками. В детской у неё были другие глаза, другая улыбка. Тобольцев с удивлением подметил это первый. «А ведь она сложнее, чем я предполагал...»

Как-то раз он вошел в детскую, когда Лиза, играя с детьми, полулежала на ковре. Ему бросились в глаза линии её ног, её бюста без корсета, в утренней блузе. «Она поразительно хорошо сложена! И всё это досталось такому животному, как Николай... Какая обида!..» – подумал Тобольцев.

– Лиза, что бы тебе своих-то завести? – шутя сказал он.

Щеки её загорелись. Она быстро встала, с опущенными ресницами, поправила волосы.

– Куда же ты?... Погоди...

– Пусти!.. Я не одета... – Она убежала, как дикая козочка.

А он поглядел ей вслед с тревожным чувством...

Иногда в лице Лизы появлялось новое, странное выражение. Какая-то прекрасная тоска... Это случалось зимой, в погожие дни, или ранней весной, когда снег в полях был похож на сахар, рассыпчатый, но твердый и иглистый; когда вечерняя заря вспыхивала в облаках... Лиза бросала книгу, подходила к окну. Жестом, полным неги, она закидывала руки за голову и стояла так, из-под полузакрытых ресниц глядя на янтарные и пурпурные тона. «Фимочка, – странным звуком говорила она, – поедem кататься!.. Поедем скорей, пока ещё не догорела заря... В парк!.. В парк!» – вдруг страстно срывалось у нее. Они наскоро одевались, на углу брали знакомого лихача. – «Скорей! – торопила Лиза, задыхаясь. – На чай тебе не пожалею... Скорей!»

⁴¹ Парле Франсе... Альфонс Ралле, Брокер, шарман, фиксатуар... – Набор слов, имитирующих французскую речь: *parlez frangais* (фр.) – говорите по-французски; названия московских фирм, торгующих парфюмерией: «Альфонс Ралле и К°» и «Брокер и К°»; *charmant* (фр.) – прелестно; фиксатуар – помада для волос.

И лихач неся, как бешеный. А Лиза, вся чужая какая-то, вся новая, подставляя лицо ветру, с трепе щущими ноздрями, с искрящимися глазами, полуоткрыв губы, жадно пила воздух. А часто даже закрывала веки, как бы изнемогая от наслаждения.

И вот они въезжали в молчаливый, весь серебряный от инея парк, словно в сказочное царство. Лошадь шла шагом, похрапывая и вздрагивая под шелковой сеткой. Полозья тихо шуршали по рассыпчатому снегу. Иней с веток осыпался на шляпы и муфты. Бархатные ели, как большие, закутанные в шубы люди, стояли важно среди безмолвия и блеска. Заря гасла в небе.

Призрачный серп выглядывал из-за леса. А когда они выезжали на опушку, над ними кружили и каркали вороны.

Лиза озиралась молча, большими встревоженными глазами.

– У меня ноги озябли, – говорила Фимочка. – Ступай домой!

И они неслись опять. И Лиза иногда хохотала отрывисто и странно, как тогда, как слушала скверные анекдоты.

После свадьбы Николая Анна Порфирьевна отправила Тобольцеву в Италию портрет молодых, снятых в традиционной позе: он, совсем как приказчик, в длинном сюртуке, с торжественной миной. Она – под ручку с мужем, бесстрастная и безразличная, с поджатыми губами и опущенными ресницами... Тобольцев засмеялся и бросил портрет в ящик. Где-то в Неаполе или Флоренции, в отеле, он забыл его.

Когда он увидел Лизу, он не узнал ее. В ней была какая-то дикая грация, какая-то странная, точно застывшая красота. Она казалась околдованной... её смуглая кожа напоминала модные статуэтки из зеленоватой глины, которые Тобольцев видел в Париже. Бледность придавала ей «стиль», как говорил Андрей Кириллыч. Что-то значительное, почти трагическое было в очерке её бровей. Подспудной силой и нетронутой, ещё дремлющей страстью веяло от всех линий её худого лица, от взгляда, от немой, дрожащей улыбки... «Цыганка», – вспомнил Тобольцев прозвище нянюшки. К ней это шло. И, как цыганка, она любила драгоценности. Она не расставалась с цепочкой из аметистов, которую он привез ей из Швейцарии.

Как-то раз, забывшись, она поднесла их к губам.

– Что ты делаешь, Лиза? – испуганно крикнул Тобольцев. И тотчас ему вспомнилось выражение её лица в первый момент встречи. Сердце его застучало.

Она побледнела.

– Я люблю аметисты. Они приносят счастье, – своим глухим голосом ответила она, не подымая ресниц.

«И суверна, как цыганка»... Но ему было приятно, что он ей угодил подарком.

Обеих невесток Тобольцев очаровал мимоходом, так легко, как и других женщин, с которыми сталкивался. Он в шутку флиртовал с обеими. Но в то время, когда Фимочка от всего сердца целовала братца, Лиза оставалась «недотрогой»... И это опять-таки ему нравилось. В Лизе было что-то «свое», что-то неуловимо тревожившее воображение Тобольцева. И когда теперь, зная её своеобразную улыбку, её странный смех, звук голоса, очерк бровей, он вспоминал портрет, забытый им в отеле, он начинал всякий раз бешено хохотать.

Скоро Тобольцев увлекся Лизой, как художник увлекается новым вымыслом. И жизнь её вдруг наполнилась каким-то нестерпимым счастьем, каким-то огромным смыслом.

Фимочка созвала гостей, чтоб показать всем «братца».

– Пожалуйста, чтоб не было барышень! – просил Тобольцев.

– Что так?

– Да стеснительно с ними. А я хочу дамам про Париж рассказать...

Фимочка поняла и захлопала в ладоши.

Собралась Зацепа, Таганка и Ордынка⁴², все подруги по пансиону Фимочки и бывшие товарки Лизы по гимназии.

В числе приглашенных были и Конкина с мужем. Они с Фимочкой были на ти. Это была маленькая, черненькая, вертлявая женщина с «декадентской» прической, с пышно взбитыми и спускающимися на уши волосами. В своем кричащем туалете она была похожа на маленькую собачку, в яркой кофточке, которую вывели погулять.

И вот, после ужина, когда мужчины, опьянев, стали «резаться» в банчок, дамы заперлись в будуаре Фимочки, где Тобольцев по своему вкусу красиво разбросал мебель. Все расселись по кушеткам и козеткам, поджав ножки. На маленьких столиках поставили графинчики с ликерами и корзины с бисквитами. Конкина закурила. В доме Тобольцевых это была единственная курящая женщина. Даже братья Тобольцевы не признавали сами «курева».

Лиза села поодаль от других, в мягком кресле, как всегда молчаливая, как всегда трезвая, несмотря на выпитый ликер. У других дам головы уже кружились, а Фимочка была откровенно навеселе и болтала глупости.

Вошел Тобольцев, предварительно постучавшись. Его встретили хохотом, аплодисментами и заперли за ним дверь.

Он оглянулся, перешел комнату и сел у ног Лизы.

Все ахнули. Но Лиза не шелохнулась. И когда он, запрокинув к ней на колени голову, посмотрел на неё снизу вверх, её лицо с сдвинутыми черными бровями показалось ему чужим и жутким. С секунду они молчали, только зрачки их расширялись. Но эта пауза показалась им значительной.

Вдруг Лиза закрыла глаза с тем выражением, какое появлялось в её лице, когда лихач мчал её по шоссе, а весенний ветер бурно целовал её щеки. И Тобольцев вздрогнул.

– Расскажите, расскажите! – слышалось со всех сторон. – Про Париж... Про любовь и женщин, – пропищала Конкина.

Тобольцев окинул всех блестящими глазами. Сидя на ковре, он обхватил свои колени руками и начал говорить...

Сказка ли? Жизнь ли?... Экспромт? Или воспоминание пережитого?... Он сам не мог сказать, где кончалась правда, где начинался вымысел. Женщины слушали, не сводя глаз с его губ. Париж вставал перед ними... Этот единственный в мире город, полный блеска и мрака, полный дух захватывающей дерзости и красоты, поисков новых путей в творчестве, Чудовищных преступлений, противоестественных страстей, отчаянной борьбы за жизнь и высокой борьбы за счастье людей...

Они видели, казалось, перед собою эту ленту бульваров в час, когда падают сумерки и загораются огни... *L'heure bleue*...⁴³ Бьет семь часов... Париж сверкает, трепещёт напряженной жаждой жизни... Запираются магазины и конторы. Бурливый людской поток, алчный до ощущений, наводняет улицы. Бегут конторщицы, продавщицы, модистки, барышни-«модели» и барышни-«манекены», все изящные, скромно одетые, в очаровательных шляпках собственного изделия. Они грациозно подбирают юбки, показывая красиво обутую ногу... Прачки и швейки идут кокетливые, изящнее наших барынь, без шляпок, но причесанные по моде, и если весна, то все с цветком на груди или в волосах. Штукатур, сняв рабочий фартук, приказчик из мясной лавки облачаются в пальто, котелки и с тростями в руках вмешиваются в толпу, и их не различишь от студентов и чиновников. Все преследуют женщин, но без нахальства и назойливости русских. Тут же, на улице, завязываются знакомства, связи, длящиеся одну

⁴² Собралась Зацепа, Таганка и Ордынка. – Здесь в значении: купчихи, т. к. перечисленные местности в Москве заселялись преимущественно купцами и мещанами.

⁴³ Букв... час синих блуз, т. е. конец рабочего дня (*фр.*).

ночь... Легко, просто, без слез и драм... Всем до безумия хочется счастья, забвения... Жизнь так тускла, труд так утомителен...

Кафе, ярко— озаренные внутри, раскрыты настежь. Оттуда несутся звуки шансонеток. Все столики заняты публикою. Между ними бродят скромные, бледные, с усталыми, зачастую прелестными лицами продажные женщины, *petites-femmes*⁴⁴, одетые, как буржуазки, в темных шляпках... Без навязчивости, печально глядят они на мужчин.

— Неужели? — сорвалось у Конкиной. — Я себе представляла их иными.

— О, да! Культура сказывается даже в этом типе женщин...

...А улица живет: торопится, поет, смеется, гремит, ликует... «*La presse!.. La presse!..*»⁴⁵ — грассируя, кричит хриплым вороньим голосом жалкий старик, разнося вечернюю газету. Кучка людей остановилась над рекламой, горящей сверху разноцветными огнями. Вдруг огни меркнут. Толпа свищет, хохочет... Чисто дети! «Новый сенсационный роман!» — неистово выкрикивает, идя вдоль улицы, человек-реклама, оборванный, испитой, с доскою сзади и доскою на груди, исписанной гигантскими буквами... Тысячи разнородных звуков, сталкиваясь, сливаются в дикий, ликующий аккорд и мчатся дальше... А в театрах, оперетках, кабачках, в знаменитом *Moulin-Rouge, Bulier, Variete*⁴⁶ — уже своя жизнь. Там царит красивый, нарядный разврат.

— Расскажите про *mi-sage-me*⁴⁷! — грассируя, подхватила Конкина, которая всё время в лорнет разглядывала Тобольцева.

И он рассказывал про этот радостный для прачек, единственный в году день, когда они, красивые, прелестно одетые (на счет города), с красивейшей между ними королевой, едут в колеснице, полной цветов, среди двух стен ликующей толпы. Везут белого глупого быка на колеснице, и у него на шее и на рогах розовые банты. А толпа, как один огромный ребенок, под звуки военной музыки, с безумным хохотом кидает пригоршнями конфетти и вступает в настоящую битву с девушками, едущими в колеснице. Вся земля почти на пол-аршина покрывается слоем конфетти... Всякое движение останавливается. Старики, почтенные отцы семейств, пускаются в пляс тут же, на улице. Что говорить о молодых? Это какой-то неудержимый поток веселья...

— Воображаю, что ты-то разделявал, голубчик! — пропела Фимочка. Все расхохотались... Тобольцев рассмеялся тоже и оглянулся на Лизу. Она сидела, вся подавшись вперед, поставив локти на колени и положив подбородок в ладони. Глаза её без улыбки и ласки, странно и жадно глядели в лицо Тобольцева. Так тревожно и жадно, что ему стало не по себе.

— Вот вам две картинки, иллюстрирующие Париж!

Утром, в праздник *mi-sage-me*'а, я видел среди толпы экипаж. Он двигался медленно, как все, мимо лож, эстрад и загородок. В ландо⁴⁸ сидел... нет, даже не сидел, а лежал какой-то старик в теплом пальто. Лежал как-то боком, опершись на одну руку. Не то паралитик, не то больной... Лет шестидесяти, не менее. Все ландо было полно букетами цветов и пачками конфетти. Одной рукою он бросал в женщин букеты. Пакетики же с конфетти он ожесточенно швырял в цилиндры мужчин. И так он раскидал все, что было у него в экипаже. А сам на ладан дышит... Ни кровинки в лице... Все ему аплодировали. Прачки посылали ему поцелуи, закидывали ему на котелок ленты серпантин... Он раскланивался, но ни один мускул не дрогнул у него в лице... И мне все казалось, что по дороге назад он умрет...

— Какой ужас! — Конкина повела узенькими плечиками. — Напротив! Какой восторг!.. Как эти люди любят жизнь и умеют жить! Там старости не признают... На балах танцуют отцы

⁴⁴ Малютки (*фр.*).

⁴⁵ «Пресса» Пресса!» (*фр.*).

⁴⁶ ...*Moulin-Rouge, Bulier, Varidte* (*фр.*). — названия знаменитых увеселительных заведений Парижа.

⁴⁷ Четверг на третьей неделе Великого Поста.

⁴⁸ Ландо — четырехместная карета с раскрывающимся верхом.

семейств, седые люди, которые у нас играют в карты... Там ничего не стоит после сорока лет начать жизнь сызнова... В пятьдесят лет француженка ещё полна обаяния и вдохновляет писателей, художников и драматургов...

– А другой случай? – перебила Фимочка.

– Вечером я пошел на публичный бал, в Бюлье. Вообразите себе сарай, пыльный, закопченный, с плохой вентиляцией, с отвратительным паркетом... Сбоку галерея, где стоят столики. Можно спросить себе и даме *grenadine*⁴⁹ или пунш, тянуть его из бокала через соломинку и наблюдать публику. В зале толпа. Женщины в шляпах, мужчины в цилиндрах, многие в пальто. Все национальности налицо... Я видел даже двух креолов-студентов, в котелках, в европейском костюме, в перчатках... Надменные, скучающие, с своими выпуклыми черными глазами и экзотическими лицами, казавшимися ещё темнее от ослепительных воротничков, они вяло бродили в толпе, не обращали никакого внимания на женщин...

– А женщины очень красивы? – вдруг перебил его глухой голос Лизы. Она не изменила позы, и выражение её глаз не смягчилось. Тобольцев взглянул на неё и опять отвернулся с тем же странным чувством отчуждения.

– Н-нет... У них скомканные личики, мелкие, не правильные черты... Но они безусловно все женственны грациозны, одеваются со вкусом. У них прелестная прическа, красиво обутая нога...

– А тело? – крикнула Фимочка, и глаза её заискрились.

– Это на чей вкус... Нашему купцу они покажутся «жидкими».

– А тебе? – опять спросила Лиза.

Тобольцев всем корпусом повернулся к ней и на этот раз смело, со странным упорством встретил её потемневший взгляд. В нем ему почудилась застывшая угроза... Какая-то смутная тайна кошмара.

– Мне они нравились... Очень нравились, моя прелестная Лизанька! Они веселы, добры, просты. Не истерички... С ними можно чудесно провести неделю-другую и расстаться друзьями. Они сцен ревности не делают. Слезы у них сохнут быстро. Разлучаясь, они не отравляются, а просто берут себе другого «сосо»⁵⁰. Зачастую они первые нам «изменяют» (он комично подчеркнул это слово)... Но ведь в любви они не рабыни, а товарищи, равноправные и смелые. И это как-то безмолвно признано всеми, даже лицемерно-консервативным «обществом», которое освистывает пьесы с безнаказанным адюльтером, а само сквозь пальцы глядит в жизни на романы «госпожи» и на приключения «горничной»... Да-с, *mesdames*! Во Франции женщина, на какой бы низкой ступени она ни стояла, это – сила. Она чувствует свою власть над нами, пользуется ею и требует к себе уважения... Всегда! Там публичная женщина знает себе цену и не позволит себя оскорбить. Кто из вас, *mesdames*, читал «Историю одного преступления» Гюго?⁵¹

Все молчали.

– Он описал факт, как Наполеон III подкупил армию в 1852 году, чтоб задавить в одну ночь все, что было честного во Франции... И вот, когда один из генералов явился к своей любовнице, она крикнула ему в лицо: «Я – публичная женщина, но я не продаю своей родины!..» И выгнала его вон... Да, только в такой стране, я верю, народится когда-нибудь тот тип новой женщины, о которой я грезил не раз...

– Какой? – хором крикнули все, кроме Лизы.

⁴⁹ Гранатовый сироп (*фр.*).

⁵⁰ «Коко», букв. «цыплёночка» (*фр. разгов.*).

⁵¹ «История одного преступления» Гюго (1877–1878) – книга о политическом перевороте Наполеона III.

– Той, которая свое счастье и свободу возьмет себе сама, относясь к мужчине не как к хозяину, а как к равному, беря его в минуты страсти и бросая его как ненужную ветошь, когда наступит разочарование.

– А что для этого надо? – вдруг задумчиво спросила Лиза.

– О, много, Лизанька, много!.. Нужно прежде всего взять новую метлу. И вымести, как из комнаты, которую хотят проветрить после тяжелой болезни жильца, весь хлам, пыль, сор, которые копились веками в женской душе... Не оставить там забытым и нетронутым ни одного уголка. Все смыть, все уничтожить!.. Реликвии, сувениры, фетиши... Распахнуть в вашей душе окна настежь. Разбить рамы, чтоб солнце и воздух лились в неё свободно и убивали все старое, гнилое, мертвящее, что веками не давало вам дышать полной грудью и жить... хотя бы так, как мы, мужчины, жить научились!

– То есть? – подхватила Конкина, и её скомканное личико отразило восторг.

– То есть смотреть на любовь как на необходимость жизни, от которой немислимо, вредно отказываться, без которой нельзя жить, как нам, так и вам. Это раз... Но... Слушайте! Слушайте! – Он засмеялся. Главное впереди... Но, беря эту любовь, надо не переоценивать ее, как это делали Татьяна, Лиза, Елена в «Накануне»⁵², героини Достоевского, наши бабушки; матери. И даже такие гении, как Софья Ковалевская...⁵³ И как это делаете вы сейчас, mesdames! Вы сделали из любви драму, а её надо брать как радости и забвение... как отдых после труда. Вы наполнили ею душу, а ей надо отвести в жизни второе место как это делаем мы... Поняли? Вот «где зарыта собака»

Наступила короткая пауза. Блестящими глазами Тобольцев следил за всеми этими лицами, полными недоумения. Опять его потянуло оглянуться на Лизу. И его поразил трагизм её лица. Невольно выпустил он её холодную руку. И бессильно она упала на её колени.

– Но если отнять у нас любовь, то чем же тогда наполнить жизнь? – напыщенно крикнула Конкина.

Глаза Тобольцева сверкнули.

– Трудом, mesdames! Упорным трудом над развитием вашей личности... Идеей, искусством, выработкой мирозерцания, общественными интересами, общественной деятельностью... Всем, чего вы лишили себя и что делает нашу мужскую жизнь мятежной и красивой. Но для этого надо, конечно, научиться независимо стоять на своих ногах, содержать себя и своего ребенка если он будет. И суметь нести высоко голову в сознании своего права на любовь и на материнство!

Вздых вырвался из груди этих разряженных женщин с которыми впервые заговорили по-человечески. Сказкой звучали для них эти речи, раскрывавшие туманные, заманчивые дали.

– Этого никогда не будет! – сказала Конкина.

– Напротив... Мы идем к тому. Какая конечная цель тысячелетнего прогресса, как не торжество индивидуализма? Счастье всех и каждого?.. И вы, женщины, все должны стать апостолами новой веры, потому что вы больше всех страдаете от гнета и насилия современных общественных форм... Семья, частная собственность – вот ваши оковы... Когда исчезнут эти кошмары, тысячелетия давившие на человека, он встанет во весь рост, вздохнет полной грудью. Он радостно улыбнется солнцу. Он использует всю короткую прекрасную жизнь для себя... Кто из нас теперь живет для себя? Кто свободен? Даже художники, которые рождены богами, не чувствуют своих крыльев и творят, как рабы, по чужой указке... Но наступит время, когда человек на крыльях своей бессмертной души взлетит на все вершины жизни, заглянет во все

⁵² ...как... Татьяна, Лиза, Елена в «Накануне»... – Перечислены героини, олицетворяющие в русской литературе XIX в. идеал русской женщины: Татьяна («Евгений Онегин» А. Пушкина), Лиза («Дворянское гнездо» И. Тургенева), Елена («Накануне» И. Тургенева).

⁵³ Ковалевская С. В. (1850–1891) – математик, писательница и публицист.

её бездны... И сознает себя тем, что он есть, – частицей Природы, не знающей ни лицемерия, ни страха...

Наступила пауза.

Вдруг Фимочка, у которой глазки давно посоловели от ликера и умных речей, вспомнила:

– А второй случай, братец?

– Да, да! Вы говорили о Бюлье...

– Oh, mesdames! Не пожалейте о вопросе!

– Нет, нет, пожалуйста! Это интересно!

– В Бюлье начался бал... Я вас удивлю, mesdames... знаете ли, что Париж, да и вообще Европа, признает только старый вальс, польку, кадрили, лансье...⁵⁴ У них нет, как у нас, этого махрового расцвета новых танцев, по сколько темперамента они вносят в этот спорт. На днях я был в Романовке на балу... Мне казалось, я вижу какие-то нагальванизированные трупы, выделяющие *pas d'Espagne*...⁵⁵

– А кек-уок?⁵⁶ – крикнула Конкина.

– Да! Теперь это гвоздь всех публичных балов в Париже. Негритянский танец, бесстыдно-примитивный. Тогда, в Бюлье, ещё немногие его знали... Какой-нибудь десяток дам и мужчин. Но эффект вышел большой. Все ахнули, выскочили из-за столиков, кинулись вниз... Окружили тесным кольцом танцоров и с хохотом аплодировали... Мои оба креола преобразились. Закинув головы, с блаженством закатив глаза, свободно перегнувшись назад всем корпусом и заложив пальцы в карманы белых жилетов, они понеслись впереди. Они были обворожительно бесстыдны!.. Вдруг музыка смолкла, и все остановились, запыхавшиеся, красные, возбужденные, с блестящими глазами, с блуждающей улыбкой... В разгаре бала, после полуночи, заиграли кадрили, и начался канкан... тот французский канкан, полный грации, остроумия и изысканного бесстыдства, какому ни один народ подражать не умеет. У немцев, англичан и русских это одна сальность! В Париже это что-то своеобразно экзотическое... И вот, в шестой фигуре, один молодой рабочий, красивый, ловкий, очевидно влюбленный в свою подругу, грациозную швейку, обхватил её талию, вдруг каким-то неподражаемым движением перевернул её худенькую фигурку и поставил её посреди зала головой вниз...

– Ах! – крикнули дамы и покатались со смеху. Многие зааплодировали. Тобольцев встал с ковра и комически раскланялся, прижимая руки к сердцу.

– Это второй случай... которым вы так упорно интересовались...

Фимочка вдруг сорвалась с дивана и кинулась Тобольцеву на грудь.

– Миленький... Андрюшенька... Поучи нас кек-воку...

– Ковер... неудобно, – заметил кто-то.

Вмиг ковер выдернули из-под дивана, закатали в трубку и поставили в угол. Мебель отодвинули. Нашлись ноты на этажерке. Гостья села за рояль. При общем смехе и аханье Тобольцев прошелся через всю комнату, раз-другой, и остановился.

– Кто со мною? – спросил он весело.

– Я, – смело вызвалась Конкина.

Она, действительно, прошла недурно, худенька вертлявая, легкая, как перо, свободно взбрасывая изыщно обутые ножки и перегибаясь назад «декадентской» фигуркой без бюста и бедер.

Фимочка тоже попробовала перегнуться, но тяжело на пол и замахала руками. В ней было уже около пяти пудов.

⁵⁴ Лансье – старинный бальный танец, род кадрили.

⁵⁵ Падеспань – русский парный бальный танец, созданный в 1898 г.

⁵⁶ Кек-уок – танец американских негров, вошедший в моду в Европе в начале XX в.

В комнате поднялся стон от смеха. Лиза прислонилась к стене и хохотала отрывисто, глухо и злобно. И лицо у неё было «без души», пустое и жесткое... «Как у птицы», – подумал Тобольцев.

Потом он сел за пианино.

– *La rourouille... La rourouille... La-a!*⁵⁷ – запел он приятным баритоном модную в тот сезон песенку, бывшую на устах всего Парижа, начиная с депутатов и кончая гарсонами кафе.

Мотив был несложен. Не прошло минуты, как дамы подхватили напев кто неверным, кто слегка охрипшим голосом.

«Вот так оргия в почтенной Таганке!» – подумал он.

Потом с хохотом и визгом снова разложили ковер, усадили Тобольцева в кресло посреди комнаты, а дамы сели на ковре, и их пышные юбки, как цветы, легли венком вокруг.

– А правда ли, что в Париже есть кафе, где женщины... (следовали вопросы на ухо). – А правда ли есть кабачки, где... – И так далее, наперебой... – Тобольцев любезно оборачивался на все стороны и отвечал откровенно.

Лиза стояла все там же, у стены, и слушала, не проронив ни одного слова. Грудь вздрагивала от прерывистых вздохов.

– Лиза... Иди ко мне! – крикнул Тобольцев. В эту минуту она ему тревожно нравилась... Она будила в нем что-то дикое, таившееся в его крови сибиряка.

Лиза упрямо качнула головой и не двинулась с места.

– Андрюша! Успокой мое сердце, чокнись со мной! – вдруг завопила опьяневшая, разомлевшая вконец Фимочка.

– И со мной!.. И со мной!

Опять зазвенели рюмки, стали пить ликеры. Кто-то уронил столик и разбил кувшинчик с *сreme de vanille*⁵⁸. Маслянистой алой влагой ликер пополз по атласу кушетки, по платью женщин... Под каблуком дамской туфельки хрястнуло стекло.

– Ай-ай-ай!.. – завизжали дамы.

Лиза подошла к окну, распахнула занавес, открыла форточку и пила холодный воздух.

Фимочка села на колени к зятю и сочно поцеловала его в губы.

– Ай да наши! – сказал Тобольцев и расхохотался.

– Ах!.. Ах!.. – закричали дамы. Чувствовалось, что им завидно, но что у них на это не хватит смелости.

Тобольцев встал. У него кружилась голова.

– Браво, Фимочка! – задорно крикнул он. – Я заслужил награду... Ведь вы не соскучились со мною, *mesdames*? Кто же ещё за это поцелует меня? – И сердце у него забилося от предчувствия.

Все молчали, блестящими глазами глядя на Тобольцева. Вдруг зрачки его расширились, вспыхнули и как бы впились в побелевшее лицо Лизы.

И тут случилось что-то неожиданное. Лиза отделилась от стены... Как лунатик перешла она комнату и вплотную приблизилась к Тобольцеву, не сводя с него немигающих глаз. Улыбка сбежала к его губ, когда у самого лица своего он увидел эти неподвижные зрачки. Мрак и бездна глядели из них...

Странно захолонуло у него сердце. И он, как во сне, не шелохнулся и не отдал поцелуя, когда холодные губы Лизы в первый раз, опять-таки как во сне, чуть-чуть коснулись его губ.

– Ах, какой пассаж!⁵⁹ – крикнула Фимочка пьяным голосом. Но оба они её не слышали...

«Неужто влюблен?.. А если она?.. Какая глупость! Какое счастье!»

⁵⁷ Цыпочка... Цыпочка... Ла-а! {фр.}

⁵⁸ Ванильным ликером (фр.).

⁵⁹ ...какой пассаж! (устар.) – неожиданное происшествие.

В дверь стучались.

– Отворите!.. Что вы там заперлись? Что за новости? – кричали встревоженные мужья, из которых многие успели отрезветь. А жены задорно хохотали, показывали язык запертой двери, грозили ей кулачками.

– Хозяева бушуют! Ахти!.. Страсти какие! Продулись и о женах вспомнили!

– Когда спать пора! – подхватила Фимочка подбоченясь и грузно покачнулась.

И над всем этим хаосом зловещими потоками звенел отрывистый и злой хохот Лизы.

И Тобольцев почувствовал, что к дикому желанию, загоревшемуся в его крови, примешивается, парализуя страсть, какой-то безотчетный ужас, какой бывает в кошмаре.

VII

Этот вечер для Лизы оказался роковым. Она полюбила Тобольцева с первого взгляда, когда увидела на портрете его лоб, глаза и улыбку. Ей казалось, что ничего прекраснее в своей жизни она не видала и не увидит. Часто, лежа ночью в своем будуаре, она грезилась об этом далеком и чужом ей человеке. Грезы её были чисты и ароматны, как белые лилии, и долго она не понимала себя. Все герои романов, которые она читала, имели тот же хищно-ласковый взгляд, те же чувственно-изогнутые и насмешливые уста... В отсутствие хозяйки она кралась наверх с бьющимся сердцем, чтоб взглянуть в эти глаза. В один из припадков болезни Анны Порфирьевны, ухаживая за нею, она тайком унесла портрет к себе.

Но первое впечатление от его голоса и взгляда было так ярко и болезненно-глубоко, что Лиза не спала всю ночь. За ужином Тобольцев, сразу заговоривший с нею на *ты*, украдкой кидал на неё взгляды, от которых бледнело её лицо. Душа и тело Лизы разом наполнились какой-то новой, жгучей тревогой. Все валилось у неё из рук. Она бродила, как лунатик, поджидая звонка Тобольцева.

– Что это, как ты сменилась, Лизанька? – встревожилась свекровь...

Лиза затихала, только когда видела Тобольцева. И, казалось, расцветала от счастья.

– Тебя точно подменили, – смеялась Фимочка.

Когда впоследствии Тобольцев оглядывался на эту полосу своей жизни, длившуюся не более двух месяцев, ему всегда казалось, что это был какой-то удушливый кошмар... Потому что все давалось ему в жизни шутя и ни одна женщина не стоила ему ни одной слезы, ни одного вздоха сожаления... Тут же, под вихрем налетевшего знойного, больного желания к этой странной женщине, он начал добиваться своей цели упорно, жестоко. И встретил с первой минуты отпор. Отпор такой страстный, что весь он, как охотник, загорелся жадой борьбы и победы... А может быть, это была любовь? Кто скажет? Но впервые он пережил муки истинной страсти; впервые узнал, что такое разбитые нервы. Он нередко бегал по комнате, хватаясь за голову, не зная, чем отбиться от мыслей о Лизе.

«Ничего не могу, ничего! – с отчаянием восклицал он. – Засела тут... (он ударял себя по лбу) и что хочешь! Хоть стреляйся!»

Николая он совершенно не принимал в расчет. Он чувствовал, что Лиза любит его, Тобольцева, и этого ему было довольно. И если она ему не уступает, то боясь своего Бога. Но... тут он признавал себя бессильным.

Он начал с того памятного вечера каждый день катать Лизу в парк. Иногда, не совладав со своей горячей кровью, он хватал её в объятия... Она никогда не боролась, только бледнела и старалась не дать ему своих губ или же начинала отрывисто и глухо хохотать. И это было лучшее средство отрезвить Тобольцева. Смех Лизы всегда казался ему зловещим... И всякий раз они возвращались: он – злой и молчаливый, она – бледная и угнетенная... Вся эта «канитель», как злобно думал Тобольцев, кончилась совершенно неожиданно.

Один раз был сильный мороз, Лиза озябла, и Тобольцев велел лихачу остановиться у «Яра»⁶⁰. В тепло натопленном кабинете он спросил шампанского и сел у ног Лизы, на ковер, как в тот вечер.

– Полюби меня, – сказал он глухо, держа её за руки и глядя на неё воспаленными, больными глазами. – Видишь, я похудел... Ночей не сплю... Зачем меня мучить? Мужа ты не любишь... Бог нас за это не накажет. Какое ему дело до нас?... А над своим телом, Лизанька, всяк себе хозяин...

Она глядела на него с ужасом. Эти простые слова, эти грубые, неприкрашенные никакой иллюзией желания... о, как далеки были они от её души, тянувшейся к красоте! Как оскорбительно звучали эти непонятные ей мольбы! Он страстно целовал её лицо. Но её губы не разжимались в немом протесте.

– Лизанька, я жить не могу без твоей любви! – горестно крикнул он. – И зачем ты медлишь? Разве у тебя есть сила бороться с моей страстью?.. Может ли быть иначе, когда нас тянет друг к другу? Лиза... Разве ты не чувствуешь, что рано или поздно будет по-моему?

Странно и жутко затрепетал его голос. Казалось, какая-то темная сила сказала за него эти слова. И оба они побледнели. Словно крылья Неизбежного повеяли над ними...

Он видел, что она задрожала. Тогда он обнял её в диком порыве... Но она закричала протяжно, жалобно и стала биться в его руках, как подстреленная птица.

Эти слезы и крики отрезвили его. Он встал.

– Бог с тобой, Лиза!.. Я не муж тебе... Только мужья позволяют себе насиловать жен. Мне нужна твоя страсть, а не покорность.

И вдруг среди её рыданий он расслышал:

– У меня нет мужа. Не было никогда!.. – И она зарыдала ещё сильнее, точно испугалась или пожалела о признании.

Тобольцев вздрогнул... И в его собственной душе что-то бессильно упало и погасло. Он сел рядом с Лизой на диван. Она плакала, вздрагивая всем телом. И, судорожно охватив шею Тобольцева, касаясь щекой его щеки и бессознательно обжигая его поцелуями, она отрывисто стала говорить, как она была несчастна и одинока в детстве, как она вышла замуж, чтобы «передохнуть» немного... потому что часто думала о самоубийстве... А это великий грех!.. Потом, пряча лицо на его груди, она рассказала, какой ужас охватил её в первую ночь брака! Какое отвращение!.. Она прогнала Николая...

– И поняла я тогда, что погубила свою жизнь... И что мне надо было в монастырь уйти. Об этом я ещё с детства мечтала...

– Испанка, – сказал Тобольцев. – У тебя настоящая душа испанки... Суеверная, страстная, ревнивая, религиозная...

Лиза молчала, удивляясь тому, как ей легко говорить этому чужому человеку все то интимное, чего она не открыла бы и матери. Молчала, удивляясь той дивной тишине, которая вдруг запела в её измученной душе.

– Разведись с мужем, Лиза, и уедем со мной куда-нибудь! Мир широк. Тебе нужно счастье, тебе нужны дети.

– Молчи, молчи!.. Грех... великий грех так говорить! Что Бог соединил, того человек разлучить не может. Моя вина, что я его видеть не могу. Я и должна терпеть... Не искушай меня, Андрюша! И так тяжело...

Тобольцев сам не был способен к сильным привязанностям. Он никому не отдавал души, ревниво оберегая свою свободу, и эта больная страсть Лизы смущала его... Реакция в нем началась уже тогда, после её неожиданного признания. Жалость к ней, неожиданно выросшая

⁶⁰ «Яр» – один из самых модных московских ресторанов (открыт в 1826 г.), находился на Петербургском шоссе, излюбленное место загородных купеческих кутежей.

в его сердце, в одно маленькое мгновение, когда он заглянул в её душу и почувствовал её страдание и одиночество, – парализовала его желания, убила их. Он был в положении человека, который шел в глубокой тьме по незнакомой дороге. Инстинкт либо усталость заставили его присесть и вздремнуть – ему казалось, на минуту. И вот, пока он спал, стало светать. И, открыв глаза, он увидел, что спит на краю бездны...

Да, душа этой женщины была бездной, которая его влекла и пугала. Недаром мрак и тайна глядели из её очей... «Ужас, ужас! – говорил он себе. – Связать свою судьбу с нею – все равно что петлю на себя надеть... Какое счастье, что она ещё девушка! Будь она женщиной, и проснись в ней этот темперамент, который я в ней чувствую и который меня к ней влечет, – она не устояла бы в тот вечер перед моим порывом...» Его фантазия рисовала ему выпукло, до малейших подробностей, все то красочное, что эта связь внесла бы в его собственную жизнь. Но... он знал себя. Он знал, что пресытится и этой связью. А насилия над своей душой и чувствами он не мог допустить... Как бы ни любил он, но ревность, упреки, сцены вызвали бы в нем только отвращение. «Как к дикарке... А разве у Лизы не душа испанки, то есть культурной дикарки? И разве она не истерзала бы меня и себя ревностью? А ещё хуже, упреками за то, что я ввел её в грех... Брр!..»

О да!.. Есть особое сладострастие в связи с такими истеричками. Недаром Дон-Жуан так упорно преследовал донну Анну. Есть особое сладострастие в торжестве над религиозной женщиной... Упиваться её ласками; между двумя припадками раскаяния пить в поцелуе её слезы; видеть, как под огнем ласки её испуганные глаза завлакиваются ответной страстью... У Тобольцева даже дух захватило от этой картины.

Но... это была уже не чужая ему женщина, душу которой не видишь, душу которой топчешь без сожаления... Заставить её страдать – значит самому потерять покой... стать рабом этой жалости, надеть на себя добровольно кандалы...

Из-за чего же, однако? Разве на всех дорогах, навстречу ему и рядом, не идут другие женщины, не хуже той же Лизы? Веселые и добрые, без претензий и предрассудков?.. И разве каждая новая женщина не будет для него привлекательнее в силу той же новизны? Ведь тем и хороши жизнь и любовь, что новое женское лицо является притягательной загадкой; что природа разнообразна до бесконечности и не знает повторений; и что в любви каждая натура глубоко индивидуальна... А разве поймет это Лиза, для которой любовь будет трагедией всегда?

И таких много. Слишком много крутом!..

Но есть женщины, для которых любовь не драма, а то, что называется *haute comedie*...⁶¹ – остроумный и захватывающий поединок, который кончается без крови и слез. Но он красив, романтичен и дает удовлетворение тончайшим запросам души... Есть и другие, для которых любовь – полный юмора, изящный водевиль во французском духе... Наконец, есть и такие, для которых она не более, как фарс с переодеванием.

Ах, если б встретить женщину, которая на любовь глядит его глазами знатока и дилетанта! Такой связью он дорожил бы сам. «Увы! Их мало... – думал он – А если способность быть такими заложена в них природой, их извратили ложным сентиментальным воспитанием и отжившими традициями...»

Было ещё одно предчувствие: «Это убьет мою мать...»

Анна Порфирьевна была единственной женщиной, ради покоя которой Тобольцев готов был поступиться своими капризами и даже страстями. От него не ускользнуло то, чего не замечали его родные: растущая привязанность Анны Порфирьевны к Лизе. Вот почему интерес и нежность к Лизе росли в сердце Тобольцева, а физическое влечение к ней угасало.

Долго Лиза не понимала, как изменилась его душа. Наивная и влюбленная, она долго верила, что человек, признавшийся ей в любви, будет довольствоваться, как и она, близостью

⁶¹ «Высокая» комедия – комедия характеров.

духовной и беглыми, робкими ласками, которых она боялась, но без которых уже не хотела жить... Она, как женщина и религиозная натура, не могла понять, что была только капризом для Тобольцева.

От этого большого влечения его излечила внезапная связь с француженкой. Это был новый тип «этуали»⁶². Она выступала в кафешантане в высоких, наглухо застегнутых лифах, скромно одетая, скромно причесанная – «как буржуазная дама», – с лицемерно опущенными глазами, не делая ни одного вольного жеста. И пела скабрёзные французские песенки с невинной улыбкой барышни, не ведающей, что творит... Она напомнила Тобольцеву Париж и тронула его неожиданной искренностью увлечения, которым ответила на его бешеный порыв. «*Mon beau russe*»⁶³, – называла она его. И долго потом, когда Тобольцев уже не жил с нею, они встречались, как приятели, и француженка прибегала в банк просить *une somme*⁶⁴, когда грозили за долги описать её имущество.

ещё основательнее отрезвила Тобольцева неожиданная встреча с кружком пламенных театралов. Они мечтали создать образцовый кружок Любителей сценического искусства. Но дальше слов не шли, ни у кого не было «инициативы»... Тобольцев увлекся, сразу поставил дело на широкую ногу. Члены кружка были, по большей части, люди интеллигентные: учителя гимназии, студенты, курсистки с высших курсов, городские учительницы, адвокаты. Были и просто «барышни», скучающие без любви и работы. И просто молодые люди, без определенных занятий, жившие на средства родителей. К «делу» все они относились серьёзно, без малейшей критики; волновались, выбирая пьесу, конкурировали на главную роль, собирались на репетицию, как на праздник; свои роли знали наизусть, играли, словно священнодействовали. И сбить их с занятой ими позиции было бы невозможно.

Тобольцев ставил спектакли всегда с благотворительной целью: в пользу курсисток, судьбой которых особенно заинтересовались в ту зиму; в пользу студентов и голодающих. Помня завещание Стёпушки, он возил свою труппу по фабрикам и заводам. И счастливее его нельзя было найти человека в те вечера, когда рабочие, наполнявшие театр, восторженно вызывали его, как артиста и режиссера.

Через год о труппе заговорили газеты, потому что Тобольцев никогда не забывал приглашать репортеров. У него оказался настоящий талант режиссера. В короткое время он сумел подобрать ансамбль и наметил такой интересный репертуар, что даже пресыщенная московская публика охотно платила деньги, чтобы видеть пьесу Шницлера, Гауптмана или Пшибышевского⁶⁵, которую не догадались поставить ни казенные, ни частные сцены. Наконец, провинциальные антрепренеры, заинтригованные рецензиями, начали являться на эти спектакли, чтоб «залучить» молодые таланты.

Нередко на ответственные роли Тобольцев приглашал «заправских», как он выражался, артистов. Декорации писали художники, талантливая молодежь, искавшая заработка; на бытовые пьесы шились новые костюмы, и Тобольцев за всё это платил из собственных средств. Братья ужасались и этой новой «дури француза», как выражался Николай. Но Анна Порфирьевна, вопреки всем своим убеждениям, отнеслась благосклонно к этому увлечению. Она так боялась все эти годы за Андрея, читая его письма и угадывая между строк об его новых связях, что теперь она вздохнула свободно.

Скоро, к огорчению Анны Порфирьевны, «француз» заскучал в Таганке. Он выразил желание поселиться в «Городе». Но верная себе, она ничего ему не возражала. Лиза же была

⁶² «Этуаль» (от фр. *etoile* – звезда) – модная артистка в театре развлекательного жанра.

⁶³ «Мой русский красавец» (фр.).

⁶⁴ «некую сумму» (фр.).

⁶⁵ ...пьесу Шницлера, Гауптмана или Пшибышевского... – Шницлер Артур (1862–1931) – австрийский драматург. Пшибышевский Станислав (1868–1927) – польский писатель и драматург. Пьесы названных авторов отличали характерные для модернистского театра настроения трагизма и обреченности, экзальтации чувств, присутствие символического подтекста.

так поражена этой новостью, вдруг потеряла душевное равновесие. За обедом она, истерически смеясь, стала упрекать Тобольцева... Чем ему тут плохо, что он от семьи бежит?

Анна Порфирьевна вспыхнула:

– Ты-то при чем тут? Коли мать родная не прекословит ему, тебе какая печаль? Обязался он нешто развлекать нас тут всю жизнь? Он – вольный казак. И ему тут тесно... А ты лучше за своим муженьком поглядывай. Чужих не замай! – И она пронзительно поглядела на невестку, словно увидала её в первый раз.

Лиза опустила ресницы, сжала губы и примолкла. Она чувствовала на себе злобный взгляд Николая... Вечером она плакала, запершись у себя. Для неё начиналась драма.

Возмущенный Тобольцев три дня делал вид, что не замечает измученного лица Лизы, её глаз, окаймленных черными кругами. Наконец он тихонько прокрался вечером на её половину. Николая, как и всегда, не было дома.

Лиза ахнула и стала бледна, как кружева её капота. Тобольцев стал говорить с нею, как с ребенком звал её в гости; уверял, что это будет ещё интереснее – встречаться в другой обстановке. В сущности, и здесь она его почти не видит с тех пор, как он связался с этим кружком любителей. Что же изменится?.. И, как всегда было в его отношениях с женщинами, на Лизу действовало не столько то, что он говорил, сколько его манера говорить, самый звук голоса, вкрадчивый и нежный. Она стала целовать его лицо, жадно, порывисто, с каким-то больным отчаянием. И он невольно подумал, что Лиза способна забыв на один миг своего грозного Бога, кинуться ему сама на шею. Даже – кто скажет! – презреть спасение своей души, лишь бы удержать его при себе, когда тень будущей соперницы упадет на её дорогу «Несчастливая! – думал он. – Она родилась от алкоголиков, и эта ревность – неизбежное и роковое наследие – перейдет у неё в манию, которая разрушит её душу и её жизнь... Она обречена с колыбели. Спасения нет!»

Чтоб развлечь Лизу, Тобольцев брал её с собою приглядывать мебель, обои, обстановку. Сам он так объяснял ей и матери желание иметь свой угол:

– Вы на меня, маменька, не сердитесь, но здесь я себя в чужом гнезде чувствую... Моего здесь ничего нет, хотя я здесь и родился... потому что своим можно назвать только то, что отражает мои вкусы, что отвечает моим потребностям и привычкам... А здесь, особенно после границы, все... как бы это сказать?.. нарушает мое настроение. Начать с кровати... Чего вы улыбаетесь, маменька? Вы думаете, что кровать – это пустяк в нашем повседневном обиходе? Помилуйте, да мы в ней половину жизни проводим! Это первое условие комфорта...

– Да Бог с тобой! Переезжай... Нешто я держу тебя?

– Ах, нет! Мне этого мало, маменька... Мне надо, чтоб вы поняли меня... Я привык к пружинному легкому матрацу, ненавижу пуховики, сплю зимой даже под легким одеялом. У вас я каждый день утопаю в пуховых перинах и борюсь с подушками, как с врагами... Мягко, душно, лезет на тебя и сзади, и с боков, и на лоб напирает, и на ухо наваливается... А стоит мне выпить, мне кажется, что это мне подушку на лицо набросили и душат... И я ору во все горло.

– О Господи! Чего только не придумает...

– Ну, и во всем остальном тоже. Я люблю кушетки, которые словно усвоили линии моего тела... Чтоб упасть на неё и грезить, не думая о том, что локоть некуда девать или что под головой у тебя колодка... Вот как на этом диване, например...

– Ему лет сто, – напомнила мать. – Это тоже ценить надо.

Тобольцев комично раскланялся перед громоздким диваном красного дерева.

– Ценю, маменька, ценю! Но ведь любой мраморной плите в соборе Святого Марка, в Венеции, тысячу лет миновало... А покорно вас благодарю, если вы предложите мне на ней расположиться для отдыха!.. Ваши столы, стулья, комоды... Разве их сдвинешь без членовредительства? Нет, маменька, современный человек, нервный, изнеженный, не удовлетворится

не только нашей старинкой, но даже стилем empire⁶⁶, как он ни изящен... Наша мебель должна быть легка, как наш Дух... чтоб мы не замечали ее, придвигая кресло к окну – взглянуть на краски неба, или к камину, чтоб помечтать у огня, в осенний вечер... А если я напрягусь, чтоб двинуть «вольтеровское» кресло, я упаду в него без сил и мечтать не захочу. Настроение исчезнет... Это вещь хрупкая... настроение... Как одуванчик, что в поле растет. Дунь на него, и весь разлетелся. А у тебя осталось... кресло в руках...

У Лизы вдруг задрожал подбородок от немого смеха. Анна Порфирьевна махнула рукой. Но Тобольцев не унимался.

– Вон у Фимочки, «в будуаре», олеографии висят на стене... Сколько раз просил: «Бросьте, стыдно глядеть!...» Как можно? Рамы дорого стоят... Как будто все дело в рамах! А Капитон твердит: «Премия... Не выбрасывать же даровое!...»

– Нашел с кем говорить! – уронила мать еле слышно.

– А у меня, маменька, каждый раз такое чувство, точно пробкой по стеклу проводят...

От одного этого сбежишь...

Вздых вырвался из груди Анны Порфирьевны.

– Темный мы народ, Андрей! Нечего с нас и спрашивать!

Тобольцев почтительно поцеловал её руку.

– Вы-то, маменька, светлая голова! Оттого я так смело и говорю с вами...

Тобольцев был истинным виртуозом в искусстве жить. Из всего он умел извлекать радости, из всего умел делать праздник. Быстро заразил он своим настроением мать и обеих невесток. Они тоже увлеклись поисками квартиры и выбором обстановки. У Лизы оказался неожиданно тонкий вкус. Стиль moderne⁶⁷ с его причудливо-загадочными орнаментами пленил его воображение, и она как-то сразу, без объяснений, поняла, почему Тобольцев предпочитал его другим. «И я себе все, все заведу такое же!...» – решила Лиза любуясь новой мебелью. И это решение как бы успокоило её тревогу и тоску по иной жизни, какую она угадывала за всеми этими шедеврами вековой, чуждой нам и сложной культуры.

Раз поняв сына в этом его стремлении создать «свой угол», Анна Порфирьевна не ограничивалась одним сочувствием. Когда он заикнулся как-то, что присмотрел мебель у Шмита⁶⁸, но что стоит она дорого, мать спросила: сколько? И всплеснула руками, узнав цифру. Но на другой же день она попросила сына представить ей смету, во что обойдется квартира.

– Только с той же мебелью, что тебе нравится... Словом, как бы ты устроился, если б... у тебя ветер не свистал в кармане...

– Маменька, к чему это?... У меня ещё осталось кое-что...

Но она настояла.

– Только помни: это между нами двумя останется!... – Он был тронут и крепко обнял мать. А она даже глаза закрыла от наслаждения, когда почувствовала себя в сильных объятиях своего любимца. Это не позволили бы себе ни старшие сыновья, ни их жены, ни даже внуки.

Лизе хотелось на новоселье поднести зятю на память что-нибудь такое, что он сумел бы оценить, полюбить.

– А я что подарю? – растерянно спрашивала Фимочка. – Будь это из нашего сословия кто, привезла бы пирог сладкий с башней из жженого сахара рублей в десять... Ну, а такому... «французу» чем угодишь?

– Медвежьё шкуру под ноги, к письменному столу, подари...

⁶⁶ Амбир.

⁶⁷ Модерн – стиль мебели 1890–1900-х гг., характеризующийся причудливыми капризными формами и контурами, декором в виде стилизованного растительного орнамента.

⁶⁸ Стр. 93... мебель у Шмита... – Мебель московской фабрики П. А Шмита.

– Разве ему в ноги дует из полу? – наивно осведомилась Фимочка. У них во всем доме не было ни одного письменного стола, если не считать дамский *secretaire*⁶⁹ в будуаре Лизы. Имелись только старые дубовые конторки покойного Тобольцева – одна у Капитона, другая наверху, у «самой».

Подбородок и губы Лизы дрогнули от. немного смеха. Она молча поглядела на Фимочку большими глазами. Чувство собственного роста от общения с Тобольцевым впервые гордостью наполнило её сердце.

Наконец Лиза нашла. В магазине Дациаро⁷⁰ она увидела портрет Шекспира. «Это, конечно, будет у него всегда на столе!..»

Но ей хотелось, чтоб подарок её был ценный. Она долго выбирала раму, ничто не удовлетворяло ее.

– У меня есть ещё одна, – сказал ей раздумчиво на ломаном русском языке итальянец, управляющий магазином. – её поднесли в бенефис год назад одному певцу, с портретом Чайковского. Заказали тут же. Через неделю он нам её вернул за треть цены. Ему деньги были нужны. Но она очень дорога...

– А как? – Глаза Лизы блеснули.

– Вот, взгляните...

Рама была из цельного куска агата, с дивной отделкой из серебра. Средневековая дама, в широкой шляпе с перьями и в амазонке, держала на ленте борзую собаку. На руке у неё сидел сокол. Когда в раму вставили портрет Шекспира, Лиза радостно сказала:

– Заверните сейчас же!..

Выходя из магазина, она оглянулась ещё раз на витрину. И вдруг сердце у неё упало. Среди модных, раскрашенных статуэток из зеленоватой глины, она увидела свою голову...

Да, да, это была она! Как две капли воды бывают похожи одна на другую, так походила на неё эта странная модель какой-то парижской этуали... Тот же овал лица и разрез глаз; те же тесно сжатые, гордые губы. И даже родинка чернела на подбородке. Но что больше всего поразило сходством – это трагический очерк черных, сдвинутых бровей. Прическа была другая, а la Cleo de Merode⁷¹, с опущенными низко на уши волосами. Волосы были линюче-рыжего цвета. На висках запутался цветок ириса. Другой лежал на груди. Внизу была подпись: *Lilée*...⁷²

С глухо бившимся сердцем стояла Лиза у витрины и глядела в черные, глубоко ввалившиеся глаза... Но ужас был в том, что статуэтка тоже глядела на неё жутко, враждебно и печально из-под полуопущенных век... Глядела, как живая, до полной иллюзии... И суеверная Лиза чувствовала, как холодеют у неё спина и руки... А приказчики уже следили, улыбаясь, за её лицом. Один из них широко распахнул дверь.

– Войдите, пожалуйста... Не правда ли, какая удивительная работа? Мы их массажи продаем...

Они повертывали перед Лизой статуэтку на прилавке и так, и этак... Но с какой стороны ни глядела на неё Лиза, жуткие глаза следили за нею и встречались с её взглядом... Плечи Лизы вздрогнули... «Мертвая!» – вдруг поняла она. Не столько сходство поразило ее, сколько то зловещее, что таилось в выражении губ и глаз этой головки, сколько мертвенно-жуткий колорит этого экзотического лица. Оно напоминало разложившийся труп утопленницы. И взгляд был, как у мертвеца, тусклый, загадочный, недвижный... «В гробу я такая же буду», – точно пронзила Лизу мысль.

– Что стоит? Заверните! – неожиданно сказала она.

⁶⁹ Секретер.

⁷⁰ В магазине Дациаро... – Магазин писчебумажных товаров А. И. Дациаро на Кузнецком мосту.

⁷¹ Прическа... a la Cleo de Merode – классическая прическа с прямым пробором и узлом – на затылке, которую носила известная королева красоты тех лет, французская балерина Клео де Мерод.

⁷² Лилея.

VIII

Блестяще справил Тобольцев новоселье. Нянюшка была приставлена глядеть за хозяйством.

– Да пуще всего за ним-то гляди! – наказывала ей Анна Порфирьевна. – Он прост у нас, что дитя малое. Всякий обманет, всякий на шею сядет... И коли заметишь что... беда какая... с полицией там что-нибудь... Сейчас на извозчика и ко мне... Помни!

Мать и обе невестки с любопытством оглядывали эту красивую квартиру в четыре комнаты: темный, из кордовской кожи⁷³, в строго выдержанном стиле кабинет, веселую столовую, нарядную спальню и гостиную с новой мебелью, в стиле *moderne*. Вся обстановка стоила Анне Порфирьевне около восьми тысяч. «Для отвода глаз», как выражалась «сама», она поднесла сыну на новоселье целое хозяйство из серебра: ложки, ножи и вилки, кофейный и чайный сервизы и даже серебряный самовар. всё это массивное, работы лучшей фирмы, в дубовых ящиках, с вензелями Андрея Кириллыча. «Чтоб поменьше в ссуде давали и легче было выкупать...» Тобольцев горячо целовал руки матери.

Капитон потемнел от зависти, а Николай не выдержал и захихикал:

– Что значит «француз»? У нас такого серебра в Таганке никто не видал!

Анна Порфирьевна сурово поглядела на него.

– Позавидуй! ещё чего не хватало?! Забыл, что у тебя капитал и паи? А у брата ни алтына!.. Эка душа у вас!.. Купеческая! – В это словцо она вложила столько презрения, что Лиза вздрогнула.

«Ай да маменька!» – подумал Тобольцев.

Фимочка поднесла волчью шкуру, отделанную красным сукном, братья – ящик дорогих сигар. Тобольцев благодарил от всего сердца. Дошла очередь до Лизы.

– Пойдем в кабинет! А вы все подождите. Мы позовем... – Там уже стояли два ящика. Лиза вынула дубовый футляр. Тобольцев открыл крышку и ахнул. Такой тонкости он не ждал от Лизы. Он вынул раму и поставил её на стол.

– Какая дивная, художественная работа! И что это стоит? Лиза, мне страшно подумать... Ведь это агат! Тот дивный агат, из которого сделана мантия на статуях Поппеи и Нерона⁷⁴... Камень Цезарей... Я им восторгался в Неаполе.

Она радостно смеялась, не разжимая губ, и подбородок её с черной родинкой вздрагивал.

– Так ты доволен?

– Боже мой! Да лучшего нельзя было придумать Лиза, какая ты умница! Какая ты тонкая умница Дай мне твое личико!..

Она побледнела под его поцелуями.

– Скоро вы там? – раздался за дверью голос Фимочки. Они вздрогнули и отпрянули друг от друга.

– Нет! Нет!.. Погодите!.. – Лиза подбежала к двери и повернула ключ. Потом опять подошла к столу. – Мой подарок всегда будет стоять здесь?.. Да? – спросила она странным тоном.

– О, конечно!

Она порывисто вздохнула и открыла другой ящик. Экзотическая головка Лилеи глянула в лицо Тобольцева загадочно-неподвижными зрачками.

– Какая прелесть! Я люблю эти вещи! Откуда это

⁷³ Стр. 95...из кордовской кожи... – Кожа особой выделки, производимая в испанском городе Кордова.

⁷⁴ Поппея Сабина (ок. 31–65) – жена императора Нерона. Клавдий Друз Германик Цезарь Нерон (37–68) – римский император с 54 г.

Она молчала, следя за выражением его глаз.

– На кого она похожа? – вдруг глухо спросила: она.

Тобольцев прищурился, повернул головку в профиль, прямо и вдруг покраснел. Глаза их встретились.

– А ведь правда, она на тебя похожа! – упавшим голосом сказал он. – Ты это нарочно? – Он сам не знал, как сорвался этот вопрос с его губ, и тотчас пожалел об этом.

– Нарочно, – так же глухо и странно ответила Лиза.

И вдруг с тем порывом, который никогда не оставлял Тобольцева равнодушным, она прильнула к его груди.

– Исполни мою просьбу!.. Поставь её на столе! Вон там, в уголку... Чтоб она всегда глядела на тебя оттуда!..

– Хорошо, милая, хорошо... Вот так?

– Да, да... И дай мне слово, Андрюша, что ты никогда, ни для кого (подчеркнула она) не уберешь её со стола!.. И ещё вот что, – она заговорила уже шепотом. – ... Всякий раз, когда ты взглянешь на нее, ты вспомнишь обо мне...

У него вдруг зануло сердце. Он погладил её голову.

– Я не знаю почему, но я боюсь ее... В ней точно частица моей души... Ведь это с живой женщины снято?

– Да... Какое бывает странное сходство!

– Нет, она на мертвую похожа, у которой забыли глаза закрыть... И когда я умру, я буду такая же...

Они замолчали опять. Предчувствие далекой, неотразимой судьбы вновь ледяным дыханием повеяло над их душами...

– Да умерли вы там, что ли! – закричала Фимочка и задержала ручку замка.

Все вошли, не исключая и нянюшки.

– Тьфу! Пакость какая! – сорвалось у нее, когда она увидела зеленую Лилею. Фимочка расхохоталась. «Теперь он увидит, что у меня душа не купеческая», – с горечью думала Лиза.

Дивная статуя Венеры Каллипигийской (Venere Callipigi) из каррарского мрамора, купленная Тобольцевым в Неаполе за тысячу лир, красовалась на темном постаменте.

Вот так девица! – сказал Николай и захихикал.

– Никак раздевается, бесстыдница? – подхватила нянюшка.

Тобольцев громко хохотал, глядя на их лица. Но и Анна Порфирьевна смутилась этой наготой и отвела строгие глаза от сверкающего, божественно прекрасного торса.

– Маменька, я не успокоюсь, пока вы не оцените этой красоты... Именно вы должны меня понять... Взгляните на нее!.. Из-за этой статуи я прожил целый месяц в грязном Неаполе. Я, как влюбленный, каждый день бегал на свидание к ней... Я простаивал перед ней часами...

Анна Порфирьевна, закусив губы, глядела на статую.

– А ты видел Венеру Милосскую? – спросила Лиза.

– ещё бы!.. Я задыхался от сердцебиения, подымаясь по лестнице Лувра. И когда вошел в эту красную комнату и увидел на пьедестале богиню, о которой грезил годы... ты не поверишь, Лиза, слезы брызнули у меня из глаз. И мне, как в храме, хотелось упасть на колени...

Все столпились около статуи.

– Худая какая!.. Неужто вам это нравится, братец? – удивлялась Фимочка. – А лицо, как у овцы... Нос и лоб – все вытянулось в одну линию...

– Античный идеал, Фимочка...

– Уди-вля-юсь!..

Все с любопытством разглядывали украшения письменного стола; заграничные вещи из неподдельной старой бронзы; портреты писателей и драматургов в темных рамах; дубовые шкафы с книгами в сафьянных переплетках; ковры, в которых тонула нога; прибор для куре-

ния; альбомы с копиями сокровищ Ватикана, Лувра, Дрезденской галереи и Национального Неаполитанского музея и ценный альбом с копиями Бёклина⁷⁵... Одни эти гравюры стоили больше тысячи...

– А это что такое? – удивлялся Капитон, останавливаясь перед женской причудливой головкой, с растрепанными живописно волосами и огромными, как у животного, глазами, тревожными, дикими и пустыми.

– Это Захарет...

– От Омона⁷⁶, наверно? – подмигнул Николай.

– Милый мой... Кто же вешает у себя в кабинете такие сувениры? Это талант. Неподражаемая танцовщица Захарет...

– Тан-цор-ка! Вот оно что!

– Артистка, – строго поправил Тобольцев. – А писал её портрет Франц Ленбах⁷⁷. Это только копия... Но и за неё я отдал твое месячное жалованье... Понял?

– Как не понял? То-то богатым ты вернул...

Анна Порфирьевна устало опустилась на диван. У неё голова кружилась от соприкосновения с этой чужой и заманчивой жизнью. Сын обещал показать ей все художественные альбомы, и она втайне лелеяла мечту проводить с ним часы в этой обстановке, отрешась от прошлого, отрешась от личного.

Обедом Тобольцев угостил родню на славу. По желанию Анны Порфирьевны было подано дареное серебро.

– Ну, Андрей, – сказала мать. – Теперь у тебя дом – полная чаша. Пора и хозяйку взять!

Глаза её – неслучайно – остановились на лице Лизы, и вся душа её дрогнула, когда она увидела, какая молния дикой страсти пробежала вдруг в глазах и чертах молодой женщины.

– Мы и то дивимся, – подхватил опьяневший Николай. – Так только женихи квартиры убирают...

– А холостые, как свиньи, в мебелировке живут, – вставил Тобольцев, глядя свой стакан вина на свет.

– Да вот одно только обстоятельство, – продолжал Николай, не слушая. – Постель у тебя не двухспальная... А, может, оно у французов и всегда так?

– И у русских случается, – уронил Тобольцев без всякого умысла... Но вдруг вспомнил и готов был себя за горло взять. Он со страхом поднял глаза на Лизу. Она была угнетена и растерянно озиралась. «Какая я скотина!» – подумал он.

– Братец, а братец, – осоловев после ликера, зашептал Николай, отводя в сторону Тобольцева. – А нет ли у тебя картинок? Занятно бы посмотреть!

– Каких картинок?

– Ну, уж точно не понимаешь! Ишь ты сколько понавез добра из-за границы!.. Оно, конечно, дамам не стоит показывать! А уж нас с Капитоном уважь... Капитон – он молчит... Он политик у нас. А я его мысли знаю...

Лицо Тобольцева стало брезгливо-холодным.

– Где же это ты такие картинки видел?

– У Конкина. Хи-хи!.. Уж такие, я тебе скажу, он привез из Парижа! Ну-ну!.. А в Берлине и того хуже, говорит...

– К сожалению, не могу вам обоим доставить этого удовольствия! Не догадался привезти.

⁷⁵ Бёклин Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец, оказавший влияние на формирование немецкого символизма и «югендстиля». Был необычайно популярен в России в 90-900-е гг.

⁷⁶ «Омон» – театр Декаданс («Омон») на углу Тверской и Садовой, где исполнялись дивертисмент и оперетки.

⁷⁷ Это Захарет... а писал её портрет Франц Ленбах. – Имеется в виду картина «Портрет Захарет» (1902) немецкого художника, представителя салонного академизма Франца фон Ленбаха (1836–1904).

«И на что таким людям реформы, конституция, прогресс!? А ведь таких, как они, – миллионы...» – думал Тобольцев.

Когда Анна Порфирьевна пожелала ехать домой, Андрей вызвался проводить ее, чем доставил ей большое удовольствие.

– Я сама за твою квартиру платить буду, – заявила она ему по дороге. – Не спорь!.. Где тебе взять?

– В банке рублей двести получаешь? А сто раздаешь по рукам... Не знаю я, что ли? ещё в долги влезешь? Лучше у меня бери, когда понадобится. А то затянут тебя ростовщики в мертвую петлю. Обещаешь?

– Обещаю, маменька! Вы меня решили убить великодушием!

Лиза и Фимочка часто заезжали в гости в зятю. Иногда Лиза приезжала одна. Старалась она попасть к шести, когда Тобольцев обедал. И счастлива была безгранично, потому что он встречал её радушно и с почётом. Но она ждала, как запойный пьяница, минуты, когда Тобольцев крикнет: «Нянечка, убирайте!.. А нам подайте кофе и ликеру в кабинет!»

Она садилась с ногами на тахту, крытую персидским ковром, которую для неё нарочно, из-за её страсти к мягкой мебели, купил Тобольцев. Прижавшись к зятю, она глядела на него с наивным восторгом. И так они просиживали час, полтора, рассматривая художественные альбомы, иногда перекидываясь мыслями и впечатлениями. Чаще всего он рассказывал ей о своем кружке, о будущей пьесе. «С тобой хорошо говорить... умеешь слушать!.. В женщине это редкая способность!» – ласково объяснял Тобольцев.

В восьмом часу Лиза со вздохом вставала. «Пора!.. Проводи меня, Андрюша, полдороги...» Ей нравилось делать тайну из этих визитов. Впрочем, она не ошибалась. Никто, начиная с Анны Порфирьевны, не одобрил бы этой близости.

А Тобольцев «закатывался» на всю ночь почти на репетицию. И чем дальше шло время тем труднее было его застать.

Нередко Лиза, в полусвете зажженной лампы, сидела на тахте, поджав ножки и съездившись, как замерзающая птичка. А со стола глядела на неё странно похожая, до жуткости похожая Лилея.

Няня не любила «цыганку», как, впрочем, не любила и «верченую» Фимочку. Но когда Лиза так сидела, поджав ножки и медлительно отсчитывая часы, бледная, затихшая, – у нянюшки сердце сжималось. «Не хотите ли чайку, Лизавета Филипповна?» – предлагала она. И под разными предлогами заходила в комнату. Но Лиза покачивала черной головкой и не меняла позы.

В половине восьмого она вставала, крепко сжав тонкие губы, сдвинув брови. И от бледности черная родинка ещё резче выделялась на её подбородке. Она шла бесшумной поступью в переднюю. Нянюшка мгновенно вырастала на пороге.

– У, непутевый! – ворчала она. – Вы заезжайте завтра, Лизавета Филипповна. Батюшки! Завтра у него лепетиция... Упреждал меня... А нонче, кто его знает, куды сгинул? А может, он к вам проехал? – обнадеживала добрая старушка.

Запахнувшись в ротонду, Лиза молча глядела на нянюшку, и только вспыхнувшие зрачки её выдавали загоревшуюся в сердце надежду...

– Цыганка была, – сообщала нянюшка на другое утро.

– Лиза? – Ах, какая досада! – И он ехал в Таганку, чтоб потихоньку извиниться перед невесткой... В сущности, он это делал только для нее. Самому ему Лиза была теперь менее нужна, чем когда-либо.

А она днями лежала на кушетке, устремив в одну точку глаза, в которых притаилось чувство ужаса перед чем-то темным и грозным, что нависло над её жизнью.

Один раз, видя Лизу тоскующей, Тобольцев сказал ей:

– Лизанька, в сфере чувств надо жить так, будто нам суждено прожить один только день... Понимаешь?

Наши чувства не должны заботиться о завтра... И надо заметить непосредственно наслаждаться каждым моментом. В этом тайна счастья.

– Не умею, – глухо отвечала Лиза.

– А в то же время, милая Лизанька, надо создать себе цели, идейные интересы... И в этой сфере стремиться к вечности, как будто бы нам предстояло бессмертие... В этом-то сочетании вечности с мгновениями будет истинный смысл жизни...

Она безнадежно глядела перед собой.

– Идея... Какая насмешка! Научи... Укажи!.. Моя жизнь темна, потому что у меня нет цели. Но у кого из нас она есть?

Его глаза потемнели. Он притянул её к себе.

– Ты... ты сама... твою жизнь, твою душу... разве это не цель? Боже мой, в каком мраке ты блуждаешь, моя бедная Лизанька!.. Ты заблудилась в дремучем лесу... Ты дышишь гнилью и плесенью и не знаешь, что есть солнце и цветы?.. И что это солнце и цветы для тебя? Выходи на простор из дремучего леса! Вот тебе цель великая и прекрасная... Тебя по рукам и ногам обвили, как ползучие травы, предрассудки и суеверия... Рви их!.. Они, как репейник, впились в белые одежды твоей души... Сбрось их!.. А она прекрасна, твою душу. Она родилась свободной». Пусть тебе больно!.. Пусть в крови будут твои ножки!» А ты иди вперед!.. Пойми: нам дана только одна жизнь... И надо суметь прожить ее, не потеряв ни одной минуты... Посмотри на маменьку... Она не столько рассудком, сколько инстинктом своей богатой души поняла, что её молодость была загублена. И как жадно теперь, под моим влиянием, вот эти два года она спешит наверстать потерянное!.. Подумай: она ни разу в жизни не была в театре... Она до пятидесяти лет не знала Чехова и Толстого... стихов не читала... Все грех, видишь ли... Сектантка, рабыня... На Венеру глядеть стыдно... А теперь придет ко мне, сядет рядом, глаз с неё не сводит... И что передумает в эти минуты – чувствую, у меня даже дух захватывает... Коли нагота не срам, коли красота культ, коли любовь – правда, высшая правда на земле, – то где же грех?.. Она эти два года читает целыми днями по списку, который я выслал ей из-за границы, и всю душу её я всколыхнул... Да это что! Мы с нею Беклина изучим за эту зиму, все сокровища Ватикана, всю мифологию и историю искусств... Хочешь слушать мои лекции?

– Хочу...

– И помани мое слово: через год маменька в оперу мной поедет... – Он радостно засмеялся, глядя её ослы. – Лизанька, жизни не хватит, чтоб узнать все её сокровища... А ты толкуешь о скуке? Вот ты Гете не читала, Жорж Занда, Бальзака, Мюссе, Бодлера, Флобера... Сколько лет надо, чтоб это одно изучить! А какое наслаждение читать их!.. А знаешь ли ты звездное небо? Знаешь ли, что такое мир? И чем был он на заре?.. Знаешь ли ты самое главное, Лиза: самое себя? Надо любить свое тело, свои желания, свои радости, свои грезы и настроения... Что ты улыбаешься?.. О, это не так легко!.. Это дело целого мирозерцания... И надо его выработать. Надо отвоевать свободу души... С белого платья стряхнуть репы и плесень и беречь эту белизну от пошлости и пыли... Дороже всего сберечь свою душу!.. Но не так, как учили тебя в детстве, о нет! Моя религия иная... А потом (он вдруг повернул её лицо к зеркалу, на стене)... Видишь, какая ты красавица?.. А ты никогда не думала о том, какое счастье быть красавицей, будить желания, давать радость, вдохновлять поэтов, увековечивать себя на полотне и в мраморе... Ты не знаешь, какой клад – молодость! А вы все кругом, как скупцы и безумцы, зарываете этот клад в землю... Но ведь золото остается, а молодость исчезает. Надо жизнь свою сделать красивой, сделать из неё поэму. Вот наша первая цель!

Он помолчал, улыбаясь.

– Возьми, например, меня... Многие скажут тебе: Тобольцев – что такое? Бьет баклуши, играет в любительских спектаклях... Смейся им в лицо, Лизанька!.. Я живу всеми фибрами

души и тела... Дайте мне две жизни, я обе сумею использовать!.. Когда я бродил в горах Швейцарии и пешком совершал перевал через Сен-Готард, я плакал от счастья, любясь небом, горами, снегом... А ты, Лизанька, даже в Петербурге не была никогда... Творчество – вот высшая радость нашего бытия!.. И разве, помогая бессмертной душе моей матери сбросить мертвящие ткани, в которые, как мумию, запеленали её с детства, я не наслаждаюсь творческой работой?.. Ведь она – моя креатура, мое создание – эта обновленная прекрасная душа!.. Я люблю её, как садовник дивным цветком... И разве это дело не стоит всякого другого?.. И разве жизнь не есть непрерывный творческий процесс?

Она слушала его в глубоком изумлении.

В другой раз она сказала ему:

– Что такое гениальные люди? Мне кажется, что это те, которые не боятся жизни и любят её, как ты... Я погляжу кругом... Все ходят злые, озабоченные, хмурые... И ни у кого нет того, что зовут радостью жизни. Не живут, а мучатся. А ты один, как солнце... Светлый какой-то...

Он ласково погладил её ручку. Насмешка светилась в его глазах.

– Милая Лизанька, для каждой из вас существует одним гением больше в мире. Нет ничтожества, нет бесцветности, перед которой не преклонилась бы любящая женщина! И если бы это зависело от них, то все площади были бы покрыты памятниками... Впрочем, ты это верно подметила, Лиза: люди не умеют жить... Это от страха страданий.

– Да как же можно их не бояться?

– А ты разве боишься ночи, которая идет на смену дня? Ты покорно принимаешь её как необходимость... и как радость часто, как забвение... Страдание идет рядом с счастьем, как день идет рядом с ночью. Так и смерть... Вот ты вздрогнула... А мне незнаком этот страх... Не потому ли так ценно все в нашей жизни что это все мимолетно? Нынче я жив, завтра меня нет... Да здравствует жизнь, что бы она мне ни дала! Нынче я любим, завтра я забыт... Да здравствует же любовь и каждый её быстротечный миг!.. Представь себе банальное лицо спящего человека. «Какой скучный!» – думаешь ты... Но вот взмахнули ресницы, глаза зажглись мыслью, и ты стоишь, потрясенная этой красотой. Такова роль трагического в нашей жизни... Надо неустанно идти вперед, не оглядываясь не задумываясь... Без раскаяния, без сожаления к тому, что мы оставляем позади... Надо неустанно искать... Надо уметь бесстрашно смеяться в лицо жизни. Научиться глядеть в её бездонные очи, как глядят в глаза любимой женщине... Потому что она моя, эта жизнь!.. Моя!.. И никому не отдам я ни одного мига из нее!.. Разве сам я, Лизанька, не одно лишь сверкающее мгновение в этой ночи Небытия?..

Лиза долго помнила его голос, его искрившиеся азы. Ах, как далека была она от возможности понять и прочувствовать всё это языческое, враждебное ей мирозерцание!.. Но она мучительно искала выхода из охвативших её сомнений.

– Лиза, вижу, ты скучаешь без дела, – сказала ей свекровь. – Подежурь за меня в столовой курсисток, на Серпуховской... Обещала я, да здоровья у меня мало...

Лиза ездила туда целый месяц, ездила и на заседания комиссии, стараясь заинтересоваться.

– Поедем, что ли, со мной, Фимочка, – просила она. – Очень тяжело там одной быть. И как это люди живут там?.. И все молодые...

Но Капитон рассердился:

– Ступай сама, коли тебе охота с ними вожжаться, а жену не тронь! Был бы жив папенька, показал бы он вам курсисток!.. всё это Андрей портит!.. – И, свирепо скосив глаза на жену, он добавил: – За косу оттакаю, коли сунешься!.. – Фимочка покатила со смеху.

– А ну тебя, отстань! – сказала она Лизе. – Нет у меня денег на твоих акушеров...

– Я разве денег прошу? – гордо оборвала её Лиза.

После первого же заседания комиссии, когда выяснилось, что надо прокормить полтора человека, а в кассе нет денег, она внесла тысячу рублей в столовую. Это знала одна свекровь.

– Не понимаю я этих барынь, – рассказывала ей Лиза, вернувшись с одного заседания. – Сидят некоторые в шелках, с бриллиантовыми кольцами, и ахают: «Что нам делать? Как нам быть? Как нам горю пособить?..» На тридцать человек обедов не хватает, а обед стоит гривенник. На человека трешница в месяц. Дико мне всё это... Стыдно их слушать!.. Ну, собери между собой! А они скулят...

Ну, что же ты?

– Ну что? Вынула сотенную, да и положила на стол. Они мне в рот глядят... А что я умею? Без денег Разве стою я чего-нибудь?

Но через полгода Лиза бросила работу в «Обществе».

– Не могу шуршать шелками там, где нечего есть, – объяснила она Тобольцеву. – Не могу и в Ляпинку⁷⁸ ездить, проверять, кто нуждается, кто нет... Они на мою шляпу глядят, на кольца... И чувствую что они меня ненавидят!

– И они правы, Лизанька. Ничего нет унижительнее этой филантропии. И дающий, и получающий одинаково унижены. Поддерживать учащихся – обязанность государства, а не частных лиц.

– А почему же ты сам все раздаешь другим?

– Из эгоизма⁷⁹... Ха!.. Ха!.. Ей-Богу!.. Не могу видеть кругом себя несчастных!.. Мне это отравляет настроение. И никакой «жертвы» тут нет. От одного этого слова на меня веет холодом склепа... Оттого, должно быть, так легко брать у меня.

– Андрюша, я дам тысячу, две, сколько нужно... Но не хочу туда ходить!

– И не надо! Дорого, когда это идет изнутри, а не извне...

В этих муках своей любви и сомнений Лиза как бы росла. Она страстно боролась за свое счастье, она домогалась «своей доли» в новой жизни Тобольцева.

Фимочка как-то раз сказала зятю: «Нам нужна ложа. Не задаром, конечно... Мы знаем, что это для курсисток... Хотя я и терпеть не могу этих акушеров... Воля твоя... но ведь всякому есть хочется...»

Тобольцев хохотал, но был тронут. «Это все моя умная Лизанька, – подумал он. – её деньги и слова: её же...»

– И мужей захватим непременно, – говорила Фимочка. – Что же нам одним, без кавалеров?.. Даже неловко!

Первым спектаклем в «кружке» шла «Гроза»⁸⁰. Тобольцев неподражаемо играл Кудряша. Он дал такса обаятельный тип беззаботного смельчака, так красиво пел и играл на гитаре, что все его выходы и уходвд награждались аплодисментами. Многие исполнители были тоже хороши. Срепетирована пьеса была до тонкостей умно и с новыми настроениями, не по шаблону Публика осталась довольна. Лиза и Фимочка разорвали перчатки, аплодируя Николай и Капитон смущенно покачивали головами, но хохотали много и искренно. «Шут гороховый! – Резюмировал Николай свои впечатления. – А и ловко же он зажаривает!»

Потом все остались в Романовне ужинать. Сами не танцевали, а только глядели на публику. Николай не преминул напиться. и начал безобразничать. Тогда пришлось уехать.

⁷⁸ Ляпинка (разг.) – бесплатные «Вдовы и учащихся женщин квартиры имени братьев М. И. и Н. И. Ляпиных», находились на Большой Серпуховской ул., д. 37.

⁷⁹ Из эгоизма... – Отзвук идей «разумного эгоизма» героев романа Чернышевского «Что делать?».

⁸⁰ «Гроза» – драма А. Н. Островского (1859).

Лиза и Фимочка предложили зятю развозить по купечеству билеты. И в этом они оказались полезными. Но Лиза пошла дальше. Как-то раз, заметив, что Тобольцев хмурится, она спросила: в чем дело.

– Эх Лизанька! Затеял я дело большое, а члены кружка все голь. Расходов, между тем, не оберешься... Надо новые декорации писать, костюмы шить. Ставим «Доходное место»⁸¹ на фабрике, под Москвой. Хочу, чтоб костюмы той эпохи были, чтоб все было стильно... Сам играю Жадова. Мечтал об этой роли с шестнадцати лет... Понимаешь ты, что для меня этот вечер?

– А сколько денег нужно?

– Много!..

– Сколько? – настойчиво повторила Лиза.

– Рублей пятьсот...

– Я тебе их дам. О чем тужить? Надо тысячу – бери тысячу... Две – так две. Куда мне деньги?

Тобольцев сорвался с места и схватил Лизу в охапку.

– Умница ты моя! Сокровище!.. Откуда у меня такое сокровище явилось?.. Лизанька, ты меня не осуждай, – зашептал он, глядя в её задрожавшее от тихого смеха лицо. – Для себя лично я не взял бы от тебя никогда! Но для искусства?.. Нет! Я и колебаться даже не стану, а просто расцелую твои ручки...

Таким образом она кралась, как тень, за любимым человеком; вплетаясь в его жизнь; втираясь в его отношения к другим; инстинктом угадывая, как привлечь его, напомнить о себе; как стать ему необходимой... И тактика её была блестяща. Признав в Лизе свою союзницу, Тобольцев начал относиться к ней уже с новым интересом. Он теперь посвящал её во все мелочи любимого дела. Он брал её и Фимочку на все спектакли в другие города: Тверь, Клин, Подольск, Серпухов, куда его стали приглашать с труппой. И Лиза хотя страдала, видя, как он обнимает на сцене других женщин, но ни звуком, ни взглядом не выдала своих мук. Она помнила, какое отчуждение создалось между нею и Тобольцевым при первой сцене ревности. Она сама тогда испугалась тех темных сил, что поднялись в её душе. Она чувствовала, что все её спасение в привычной сдержанности, которой нельзя изменять.

Увлечение Тобольцева сценой было совершенно непонятно его знакомым. – «Такие деньги просаживать в спектакли... Безумие!»

Тобольцев возмущался: «Поймите вы хорошенько... Ведь не из театральной школы, а из таких именно любительских кружков вышли артисты, как Солонин, Рошин-Инсаров, Южин, Яковлев-Востоков, Валентинов, Качалов, Станиславский⁸², наконец, со всей его труппой, создавшей новую эру в театральном деле... Разве это не надо ценить?»

Тобольцев страдал постоянным недоверием к собственным способностям. Он ещё только расправлял свои крылья. Комик он был неподражаемый и именно «бытовик»... Но его мечтой было играть драматических любовников, например Краснова в драме «Грех да беда на кого не живет»⁸³. Особенно «взвинтил» его небывалый успех его в «Женитьбе Белугина»⁸⁴, где

⁸¹ «Доходное место» – комедия А. Н. Островского (1857).

⁸² П. Ф. Солонин (1857–1894) – актер, в 1884–1891 гг. работал в театре Корша, исполнял роли амплуа «героя-любownika». Н. П. Рошин-Инсаров (наст. фам. Пашенный) (1861–1899) – один из самых популярных актеров своего времени. В 1884–1889 гг. служил в театре Корша. А. И. Южин (наст. фам. Сумбатов) (1857–1927) – актер, драматург, театральный деятель. С 1882 г. до конца жизни работал в Малом театре. Н. Я. Яковлев-Востоков (1869–1950) – актер Малого театра. Обладал ярким комедийным талантом. В. П. Валентинов (1871–1929) – либреттист, композитор, режиссер, антрепренер. В. И. Качалов (наст. фам. Шверубович) (1875–1948) – один из ведущих актеров МХТ, определявший творческое лицо театра. К. С. Станиславский (наст. фам. Алексеев) (1863–1938) – режиссер, актер, театральный педагог, основатель и руководитель МХТ.

⁸³ «Грех да беда на кого не живет» – драма А. Н. Островского (1863).

⁸⁴ «Женитьба Белугина» – комедия А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева (1878).

он играл Андрея. Две газеты дали о нем рецензии, как о восходящей звезде, место которой на столичной сцене.

Скоро красивая квартира Тобольцева наполнилась даровыми жильцами, и кончилась поэзия визитов Лизы. Это дало ей немало страданий. Была недовольна и Анна Порфирьевна. В редкие дни, когда она собиралась навестить сына из своей Таганки, Капитон заблаговременно извещал её письмом. «А то ведь его с собаками по Москве не сыщешь», – добавлял он.

Тобольцев заказывал для гостей превосходный обед, с дорогими фруктами и тонкими закусками... Все «сожителю» получали приказ разойтись до вечера. Квартира спешно приводилась в порядок. Отворялись форточки... Репетиции отменялись.

Нянюшка с почётом встречала хозяйку.

Уже в передней Анна Порфирьевна морщилась от запаха табаку и сигар. После обеда она садилась в кабинете и подозрительно оглядывалась на все углы. Тобольцев становился в «позу», заложив с фатоватым видом пальцы в верхние карманчики белого пикейного жилета. Его горячие глаза становились тусклыми, подвижные черты вытягивались...

– Куда приятелей схоронил? Гляди, под кроватью лежат? Ишь квартиру-то как запако-стили! Давно ли я тебе мебель обила? Креста на них нет...

– А вы, маменька, прислушайтесь... «Был в деревне пожар»...

– Да что ты мне зубы-то заговариваешь?.. Ты вот скажи лучше, куда серебро сплавил? Анфиса говорит: был лодырь какой-то, заложили для него... Квитанция-то где?

– Ну, так вот, был пожар... Полдеревни сгорело...

И с неподражаемым юмором Тобольцев рассказывал известные анекдоты Горбунова и Андреева-Бурлака⁸⁵. Анна Порфирьевна пробовала сердиться... Но устоять против такого рассказчика было невозможно. Она смеялась, стыдливо и сокрушенно покачивая головой. Хохла и нянюшка, стоя в дверях (она-то была большая охотница до этих рассказов)... А когда ласковый Андрюша подсаживался к матери и сжимал её в своих сильных объятиях, Буровая женщина словно таяла, чувствовала себя счастливой и безвольной, вся покоренная неотразимой и непривычной ласкою. её дрожавшие пальцы с затаенною страстью гладили золотистые кудри любимца.

– Ну-ка, Анфиса, дай нам чаю!.. А мы на какой же картине остановились с тобой, Андрюша?..

Ее воображение особенно пленила наивно-гениальная картина Фра Анджелико⁸⁶, эти странные, как бы «декадентские» цветы, внезапно поднявшиеся над ложем Богоматери... Они для неё были полны загадочным обаянием. Они открывали перед нею новый, смутный мир, который она все эти годы как бы предчувствовала, как. это бывает в снах.

Она уезжала, глубоко потрясенная... А на другой день она являлась в контору и приказывала немедленно отправить триста рублей Андрею Кириллычу с её запиской где безграмотно, дрожавшей рукою было написано: «Коли хочешь мать успокоить, все серебро выкупи нонче. Приеду сама взглянуть».

Старшие сыновья, сверяя баланс, высоко подымали как брови и поджимали губы. Это было все то же, старое, как мир, чувство зависти корректных братьев к «блудному сыну»... Но перечить «самой» они не смели...

⁸⁵ Стр. 109 И. Ф. Горбунов (1831–1895) – актер, писатель, автор рассказов из народного быта. В. Н. Андреев-Бурлак (наст. фам. Андреев) (1843–1888) – актер, имитатор и импровизатор юмористических рассказов.

⁸⁶ ...наивно-гениальная картина Фра Анджелико... – Имеется в виду картина «Благовещенье» (Дрезденская картинная галерея) итальянского художника фра Джованни да Фьезоле, прозванного Фра Анджелико (1387–1455).

IX

В ту первую осень, в 1902 году, когда Тобольцев вернулся из-за границы, как-то раз он запоздал к обеду. Его квартира казалась особенно светлой и уютной в этот холодный октябрьский вечер... Официально здесь жили только Тобольцев, кухарка его, нянюшка да её звери: слепая собака, глухая кошка, которую мальчишки вытащили из колодца, навсегда лишившуюся слуха от холодной ванны, да красивый, молодой петух. Он звонко пел на кухне, особенно громко в полночь и на заре, и это нравилось Тобольцеву... На самом же деле, все диваны и углы были заняты временными жильцами: молодежью без денег и без заработка.

В этот вечер, только Тобольцев сел обедать, раздался робкий, просительский звонок, и в переднюю вошел молодой человек в одном старом, наглухо застегнутом сюртуке. Шея была повязана красно-бурой тряпкой, когда-то шарфом. На ногах еле держались штиблеты, из которых наивно глядели пальцы, от просителя пахло водкой. Он дрожал от холода и униженно кланялся нянюшке, прося вызвать хозяина.

Няня не выносила пьяных. Она попросила его уйти. Он начал грубо требовать «барина»... Старушка рассердилась.

– Что там такое? – раздался из столовой звучный баритон.

– Да, вот, батюшка, озорника Господь наслал... Не выживу никак... Не было печали...

В третий раз приходит...

Проситель съезжился, увидав высокую фигуру хозяина.

– Чем могу служить?

– Артист Чернов... По сцене – Чарский... Без ан-га-же-мента». Вот письмо... От Макси... мова... А афиши...

– Артист? Очень рад! Милости просим!.. Не хотите ли отобедать? Нянечка, прибор! И супу дайте...

– Тьфу! – сплюнула старушка, хлопая дверью.

Артист торопливо прятал за пазуху пучок засаленных газет и афиш.

– Садитесь, пожалуйста!.. Водочки? Икры?.. Господа познакомьтесь! Артист Чарский...

Студенты: Степанов, Палечек... техник Станкин... Ситников, скрипач и свободный художник...

– Но без хлеба, – добродушно пробасил тот, встряхивая пышными кудрями.

– Это наживное. – засмеялся хозяин и налил вина «артисту», который совершенно сконфузился от такого неожиданного приема. – Так вас Максимов прислал ко мне? Отлично сделал... Это мой старый приятель. Он у меня почти год в номере жил, лет пять назад... Тоже вот так без ангажемента очутился. Ну, играли мы с ним в Охотничьем не раз. Платили ему разовые... Перебился зиму... Где он теперь? Я слышал, что он Калугу держал. Но только не посчастливилось?

– Теперь у Со-лов-цова, в Киеве⁸⁷... Так вы тоже... любитель-ствуете? – как-то странно скандируя слоги, спросил гость.

– ещё бы! Театр моя жизнь... Моя единственная страсть!

– Это такой, знаете ли, талант! – крикнул Степанов.

– Коли на сцену пойдет, всех вас за пояс заткнет, – убежденно пробасил скрипач.

– Вот как!.. Отчего же вы не... де-бю-ти-ру-ете?

– Не увлекайтесь, друзья мои! Для любителя, знаю, я – неплох... Но артистом быть... Нет, господа! Надо ещё поучиться. Я так высоко ценю искусство!.. Но, сознаюсь, это моя мечта

⁸⁷ ...у Со-лов-цова, в Киеве... – Русский театр в Киеве, созданный в 1891 г. Н. Н. Соловцовым, Е. Я. Неделиным и Т. А. Чужбинным.

с самого детства. И лучшие минуты моей жизни прошли все-таки в театре... Выше этого нет ничего!.. Выпьем, господа, за искусство! – Они чокнулись.

Чернов согрелся, и какой-то барский апломб послышался в его тоне. Вообще, несмотря на нищету в нем был виден барич.

– Да... У вас есть дан-ные для сцены, – проямлил он.

– Эх, кабы вы его в «Кудряше» видели! Или в Андрее, в «Женитьбе Белугина». Куда они там все, на казенных сценах, годятся перед ним!

– О нем даже в газетах писать стали... Честное слово!

– Вот как! – В Чернове уже шевелился червяк профессиональной зависти, не допускающей, чтобы хвалили другого.

– А вы – резонер или любовник? – спросил Тобольцев, и глаза его заискрились.

Чернов выпрямился и провел грязной рукой по редющим, но ещё красивым кудрям.

– И любовник... и герой... Пред-почитаю трагический ре-пер-туар, – неожиданно октавой закончил он.

Разговорился он охотно. Но его тягучая манера говорить не была приятна. Он так странно скандировал слоги, точно учился читать... Отдельные слова он вдруг подчеркивал, другие цедил с какой-то фатовской интонацией. Потом, среди рассказа, внезапно задумывался и начинал повторять какое-нибудь слово... И это было смешно. Поминал он, конечно, про свои успехи в Харькове и Киеве; говорил о блестящем турне в волжских городах, о подарках, газетных отзывах... Все слушали молча, с невольной жалостью. Так страшно казалось каким-нибудь неосторожным вопросом отрезвить этого неудачника! Он лгал – всё это чувствовали, – но это была импровизация мечтателя. То, что давало силу жить.

Когда поднялись из-за стола, Чернов вдруг потерялся. Уцелевшее в нем чувство порядочности протестовало против подачки, как нищему, после этих интимных излияний, после этого приятного обеда... А между тем, не это разве было целью его прихода? Он неделю уже спал в ночлежке, среди отребья столицы, поминутно дрожа за свой паспорт и афиши, которые у него могли выкрасть во время сна.

Тобольцев понял.

– Куда же вы? Оставайтесь у меня!

– Как?.. У вас?

– Ну, конечно... Пока не найдете ангажемента Господа, как вы думаете? Можно вам потесниться в кабинете?

– Ну чего там? – пробасил Ситников. – Конечно можно...

– Ну и отлично! А пока до свидания! Я на репетицию...

Чернов благодарил, потирая вспотевшие от волнения руки.

На другой день он уже был как дома. Он видел, что Ситников и другие сожители – не в лучшем положении; чем он сам... И он, как другие, курил хозяйские папиросы; бросал пепел в дорогие вазоны с цветами и на ковры, заплеванные и запачканные сапогами без калош; валялся на красивой мебели, все грязня, всюду оставляя следы богемы; как другие, являлся сюда, словно в трактир, чтоб поесть, часто без хозяина, уйти по своим делам и вернуться только к ночи.

Чернов был нахален. Он первый предложил Тобольцеву выпить на *ты* и очень скоро стал говорить ему: «Ах ты, свинья!.. Ну и скотина же ты!» По его понятиям, это были лучшие выражения дружбы... Все в доме оказывали нянюшке почтение, ценя её заботу. Чернов же относился к ней свысока и даже грубо, когда выпивал. И старушка возненавидела его. Скоро эта вражда и все уколы, которыми она старалась отравить ему жизнь, настолько заполнили её существование, что, исчезни Чернов внезапно, она почувствовала бы пустоту.

– Сознайтесь, нянечка, что вы влюблены в него, – настаивал Тобольцев, когда она потихоньку жаловалась хозяину.

– Тьфу!.. Тьфу... Нашел, что сказать!.. Уж такой озорник! Такой пакостник!.. Много у тебя гольтепы этой ночует и живет. Но такого лодыря ещё не насылал Господь...

– Не притворяйтесь, нянечка!.. Такие-то и неотразимы для женщин. А он ещё красивый малый...

– Особенно как твой новый спинжак сносит! – ядовито подхватывала старушка. – Что и говорить! Будешь красив... Лодырь!..

На другой же день хозяин предложил Чернову поехать вместе в клуб на репетицию.

– Пожалуй, – снисходительно согласился тот, но, вспомнив о своем костюме, сконфузился.

– Право, то вздор!.. Не хотите ли надеть мою пиджачную пару? Положим, она на вас будет немного широка...

– Это пустяки, – заторопился Чернов.

За парой, конечно, понадобились штиблеты, затем манишки, галстук, запонки... Чернов во всем чужом как-то сразу преобразился. По дороге они заехали к парикмахеру, и Чернов вышел оттуда совсем красивым молодым человеком, несмотря на отек лица, подстриженный по моде, надушенный...

В «кружке» его встретили с любопытством и даже уважением.

«Артист Чарский», – говорил Тобольцев.

Он знал, что делал. Он верил в человека.

Чернов подтянулся с первого же вечера и за ужином отказался выпить. Тактику Тобольцева он оценил, потому что был неглуп от природы... Когда-то он был милым, добрым и богато одаренным ребенком. И детство его в разорявшейся постепенно дворянской семье прошло счастливо. Разорение не дало ему кончить курса в гимназии, а мечты и тщеславие влекли на подмостки... Теперь опять проснулось все светлое в его душе.

– Андрюшка! – говорил он, заливаясь слезами, когда все-таки не выдерживал зарока. – Нет-т таких людей, как ты! Ты Карл Моор⁸⁸... Пони-маеш-шь?

– Да не ори! Всех перебудишь...

– Нет, ты послу-шай, что я без тебя был бы? Ведь мне тюрь-ма оставалас-сь... Черт... Дай, я тебя поцелую!.. Понимаешь?.. Теперь... только потр-ребуй жертвы... Понимаешь?.. Прикажи украсть... укр-ра-ду... Прикажи убит-ть... уб-бь-ю...

– Ладно... А пока ложись спать! Третьи петухи у нянюшки на кухне запели. И пить я тебе больше не дам!

Чтоб доставить Чернову хотя б карманные деньги, Тобольцев приглашал его играть и платил ему рублей десять за спектакль из собственного кошелька. Чернов на подмостках воспрянул духом... Он играл с увлечением, хотя часто обижался на режиссера-Тобольцева. Мягкий и деликатный в жизни, тот в театре был цепной собакой, как он выражался. Он требовал, чтоб роли знали назубок, чтоб на репетиции являлись аккуратно, чтоб был «ансамбль», чтоб все подчинялись воле и указаниям режиссера. С Черновым он часто ссорился.

– Отчего роль не выучил?.. Нет, ты уж мне эти замашки провинциальные брось!.. Мы тут не в бирюльки играем. На нас приходят смотреть, деньги платят. Отзывы печатают... Да и ты не задаром работаешь. Надо иметь совесть...

Он с радостью первый отметил искру истинного дарования в Чернове и бескорыстно работал над ним, проходя с Черновым все роли и не скупясь ни на иронию, ни на упреки.

– Ну что ты ногами дрыгаешь, – не раз с сердцем наедине замечал он приятелю. – Почему у тебя, как драматическое место, ноги подкашиваются? Разве V тебя в коленках драматизм должен быть? Голосом играй Лицом выражай ощущения... И нечего ноздрю подымать! Скажите... Какие оскорбления!..

⁸⁸ Карл Моор – благородный разбойник, защитник угнетенных, герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781).

– Поче-му ноз-дрю? – тягуче и оскорбленно спрашивал Чернов.

– А вот не хочешь ли в зеркало взглянуть на себя? У тебя драматизм в коленках, а обида в ноздре...

И Тобольцев заливался добродушным смехом.

– Эх, ты! ещё артист... А где в тебе уважение к искусству? – говорил он часто, сверкая глазами, когда Чернов, проходя роль, ленился прочесть, по его указанию, комментарии к пьесе Островского. И Чернов, как ни «пыжился», говоря, что он – артист и что подчиняться указке любителя ему обидно, – но он сам признавал, что это была прекрасная школа, влияние которой он унесет на всю жизнь... Кончалось всегда тем, что огонь, горевший в душе Тобольцева, захватывал и Чернова... Он не спорил, он покорялся...

В глубине души он охотно признавал талантливость приятеля. Но никогда не сознался бы он в этом другим... О Тобольцеве он всегда говорил с ноткой снисхождения, опять-таки как артист о любителе. И вся мелочность его натуры просыпалась при успехах Тобольцева, от шумных оваций, от блестящих газетных рецензий... Он дулся и страдал, отравленный завистью. Он никогда никого не хвалил: ни актеров казенной сцены, ни артистов Художественного театра. Самомнение его доходило до глупости подчас, и он казался ненормальным всякому трезвому человеку... Когда в чью-то пользу поставили «Женитьбу Белугина», он играл роль Агишина, фата-барича, которого любит Елена, и играл прекрасно. Тобольцев расцеловал его при всех за кулисами. Все товарищи поздравили его с успехом. Но у публики и у критики он имел (уже в силу своей роли) несравненно меньший успех, чем Белугин-Тобольцев. И это расстроило Чернова так, что он заболел.

– Несчастный ты человек! – говорил ему Тобольцев. Он скрыл от Чернова, что их обоих «смотрел» крупный провинциальный антрепренер и что он сулил золотые горы Тобольцеву. Но тот отказался и предложил Чернова. «Об этом ещё подумаю», – проямлил антрепренер... И пропал.

Больше всех в «кружке» Тобольцев дорожил Засецкой.

– Содержанка, – как-то раз выразился о ней член кружка.

– Не понимаю, извините, – гордо возразил Тобольцев. – Она талант. И мне этого довольно, чтоб уважать ее!..

Засецкая была из старой дворянской семьи. Прямо из Смольного⁸⁹, круглая сирота, она попала за границу с одной больной княгиней, в качестве её компаньонки. Там она свела с ума Мятлева, купца-мecenата и вдовца, приезжавшего ежегодно на Ривьеру пожуировать и встряхнуться... Она поступила на его фабрику в качестве кассирши. Два года, стиснув зубы от боли, когда стареющий бонвиван на её глазах почти заводил интриги с другими, она всю энергию и недюжинный ум употребила на то, чтоб вникнуть в дело, стать ему необходимой в конторе, складе и в семье, где маленькие дети обожали ее. Она заставила его считаться с своим мнением. Своей терпимостью и женственностью создавая Мятлеву тот home⁹⁰, которого не умели дать ему его ограниченная жена и постоянно менявшиеся любовницы, жившие в доме под видом гувернанток, – она через пять лет вполне подчинила себе этого человека, подчинила настолько, что, когда у неё родилась дочь и ей пришлось переехать на, отдельную квартиру, Мятлев, безмерно дороживший своей свободой, первый предложил ей брак.

Она торжествовала. Но, против ожидания ненавидевшей её родни его, она ответила: «Не надо, мой друг!.. Я и так верю в вашу привязанность. Но у ваших законных детей я ничего не хочу отнять. Останемтесь друзьями!»

⁸⁹ ...прямо из Смольного... – Смольный институт благородных девиц в Петербурге обычно оканчивали в 18-летнем возрасте.

⁹⁰ Домашний очаг (англ.).

Он страстно привязался к Засецкой, особенно к маленькой дочери, и они стали жить открыто. Родные через семь лет безмолвно признали эту связь. Бескорыстие и гордость Засецкой обезоружили даже врагов её и все теперь оказывали ей наперерыв почет и внимание.

– Почему же ты не хочешь обвенчаться? – через десять лет связи спрашивал состарившийся Мятлев.

Она усмехалась:

– Друг мой... Я люблю свободу... Кто поручится, что я не увлекусь? Мне только тридцать лет... Я не хочу загромождать себе жизни.

Она знала, что такой ответ – лучшие цепи для Мятлева.

Кончилось тем, что он положил полмиллиона на её имя.

Тогда в ней проснулась её настоящая натура. Она жила широко, наслаждаясь роскошью, путешествуя по Европе, как принцесса, с целым штатом прислуги, со всеми детьми; увлекалась спортом и скачками; каждый год проигрывая в рулетку крупные суммы; возбуждая всюду зависть и восхищение своими туалетами, своей гордой красотой и недоступностью светской женщины. До тридцати лет воображение её спало. Энергия была направлена на то, чтобы создать себе положение, чтоб упиться богатством. К тридцати годам затосковала душа. Она начала скучать, лечить нервы, посещать курорты. Она меняла удовольствия. Ничто не могло удовлетворить ее. Сергей Иванович дрожал, предугадывая неизбежный «кризис» – любовь...

Но... нашелся громоотвод – сцена. Засецкая безумно увлеклась искусством. У неё открылся настоящий талант. «Слава Богу!» – думал Мятлев.

В кружке она встретила с Тобольцевым, и впервые эта властная женщина почувствовала счастье рабства в преклонении перед более сильной индивидуальностью. Порядочность удерживала её от вызывающего кокетства с Тобольцевым. Но она сознавала свое увлечение и боялась потерять голову.

«Не быть смешной. Все, кроме этого!.. Лучше страдание... Лучше одиночество... Если не он первый... если пала!» Сделаю шаг навстречу, я знаю себя... Я пропала.

Засецкая увлекалась всеми новыми веяниями и в ту зиму была страстной декаденткой.

Тобольцев приехал к ней как-то вечером. Неслышными шагами прошел он по толстому ковру гостиной и остановился в дверях эффектного будуара цвета *bouton d'or*⁹¹. Огня не было, если не считать полусвета китайского фонарика. Отблеск гаснувшего камина пылал на светлых платьях дам. В комнате было человек десять, но все молчали, глядя в камин.

– Это живая картина? – раздался с порога насмешливый голос Тобольцева. – Как жаль, что я единственный зритель!

Все вздрогнули, дамы ахнули. Хозяйка, вся в белом, одетая и причесанная в стиле *decadence*⁹², встала ему навстречу.

– Ах, что вы наделали, варвар! – с изысканным кокетством воскликнула она и подала ему обе руки интимным жестом флиртующей женщины.

– Что же именно? Я подглядел мистерию?

– Почти. Ха!.. Ха!.. Серьезно... Мы уже полчаса сидим в тишине... без слов и мыслей. Мы создаем настроение...

– Что такое?

– Создаем настроение... Мы только что собирались прочесть «Селизетту и Аглавену»⁹³ Метерлинка. Вы знаете, я брежу Метерлинком! Господа, – обернулась она к гостям, – мы накажем дерзкого! Мы заставим его читать роль Мелеандра...

Дамы заплодировали.

⁹¹ Лютика (*фр.*).

⁹² Декаданс (*фр.*).

⁹³ «Аглавена и Селизета» (1896) – пьеса М. Метерлинка.

– Но я предлагаю опять помолчать и настроиться для восприятия нового слова, – торжественно пропищала маленькая долгоносая поэтесса.

Мятлев взял Тобольцева под локоть.

– Знаете, они это чудесно придумали – создавать настроение после обеда. Я превосходно выпался... И только опасался всхрапнуть...

– Сергей Иванович, это невозможно быть таким *terre a terre*⁹⁴, – рассердилась хозяйка, расслышавшая этот шепот.

– Нет, мне это нравится... – серьезно перебил Тобольцев мецената. – Отчего, идя в храм, вы надеваете ваше лучшее платье, а входя, обнажаете голову и стараетесь забыть о земном?... Каждый культ требует обрядности и настроения... А мы сейчас стоим у порога прекраснейшего из храмов – Искусства!.. Настройте же ваши души на возвышенное!..

Все заплодировали невольно.

– Ах, я знала, что вы меня поймете! – страстно сказала Засецкая. И снова все сели в глубоком молчании у гаснувшего камина.

Гости Засецкой долго помнили этот вечер. Хозяйка читала Аглавену, поэтесса – Селизетту. Тобольцев в роль Мелеандра вложил столько огня и тончайших нюансов, что покориł все сердца, даже сердце Мятлева, который давно перестал наслаждаться чем-либо, кроме французской кухни.

Ночью Засецкая думала, лежа в своей роскошной кровати с балдахином Louis XVI и блестящими глазами глядя в темноту.

«Одно его слово... И я все брошу и пойду с ним на сцену!...»

Но... этого слова он ей не сказал.

X

В то осеннее утро 1903 года, когда хоронили народника-писателя, Катерина Федоровна Эрлих, кончив уроки музыки в институте, шла домой завтракать.

Среднего роста, слегка сутулая брюнетка, с румяным лицом, всегда нахмуренным, она не могла назваться красивой. Она была сдержанная, застенчивая, с угловатыми манерами, не лишенная своеобразной грации. От неё веяло силою физической и душевной, избытком здоровья и темперамента. Прекрасны были только её глаза, синие как васильки; широко размахнувшиеся черные, гордые брови и зубы, как бы освещавшие все её смуглое лицо, когда она улыбалась.

На углу переулка ей встрети́лась процессия. «Кого это хоронят?» – спросила она проходившего по панели студента. Тот строго взглянул и назвал фамилию. «Кого?» – переспросила она. Но студент уже скрылся надвигавшейся людской волне. Это имя ей ничего не сказало. Но вдруг бритое лицо Тобольцева бросилось ей в глаза. «Должно быть, актера хоронят», – решила Катерина Федоровна. Она подобрала юбку над маленькими ногами, казавшимися безобразными от дешевой обуви, и смело пустилась вплавь через улицу. «Вот красавец!» – подумала она, вспомнив о Тобольцеве, и оглянулась невольно. Но он тоже исчез в толпе, которая все прибывала.

Жила Катерина Федоровна в крохотной квартирке. Недалеко от дома её догнала нищая с ребенком.

– Матушка... барыня... благотельница...

– Не подаю... не подаю! – сурово прикрикнула она.

– Хошь не меня... дите малое пожалей...

Катерина Федоровна остановилась, и черные брови её сдвинулись вплотную.

⁹⁴ Приземленным (*фр.*)

- А почему не работаешь? Здоровая, молодая, сильная... Не стыдно тебе?
- Какая уж сила, сударыня? Два дня не евши...
- Почему не работаешь? – Глаза её сверкнули. – Только ребенка студишь на морозе!
- Кто ж возьмет меня с детей? И рада бы...
- На то ясли есть...
- Да где они, сударыня-благотельница?

Но Катерина Федоровна мчалась дальше. Она не терпела нищих.

На её «хозяйский» звонок ей отворила кухарка, жившая «одной прислугой». Руки её были мокры красны, в доме пахло стиркой.

– Готово? – коротко спросила Катерина Федоровна, снимая с головы теплый вязаный платок, без которого не выходила на улицу. Она страдала мигренями.

– Маненько обождите, сударыня... Форшмак сию минуту готов будет. Барышня на кухне сами... Потому ноне стирка, – просительным тоном докладывала кухарка.

Катерина Федоровна насупилась и поглядела на часы.

– Через пять минут чтоб подать! Я ждать не могу...

Она вошла в комнату матери.

Маленькая, приятная, чистенькая старушка в белоснежном чепце – настоящая немецкая старушка – сидела в кресле и вязала шерстяной чулок; была третий год без ног.

– Здравствуйте, мама! Ну как? – Катерина Федоровна поцеловала сморщенную маленькую руку и, не выпуская её из своей, подняла лицо в уровень с лицом старушки. Синие глаза девушки с глубокой нежностью ласкали эти морщинки, складки чепца, двойной подбородок, слезящиеся глазки в очках, родинку на щеке с седыми волосами... Как смягчилось и похорошело суровое лицо Катерины Федоровны!

Она села подле, всё не выпуская жилистой, мягкой руки, рассказала о впечатлениях дня, об общих знакомых...

Ушла она, как всегда, раньше, чем мать проснулась. Она очень любила этот короткий досуг в семье, между уроками. Смех её был какой-то внезапный, отрывистый, но заразительный.

– Готово, – сказала Соня, входя.

Вдвоем они вкатили кресло в столовую.

Соня была очень красивая девушка, тоненькая, беленькая и задумчивая, похожая на Гретхен⁹⁵. Ситцевый фартучек, весь пропитанный запахом кухни, совсем не шел к ней.

За скромным завтраком, поданным на ослепительно чистом белье, Катерина Федоровна сказала:

– А урок я тебе нашла...

Соня покраснела.

– Неужели?... Где?

– Да вот у Конкиных. Мне предлагали, конечно. Но у меня ни одного уже часа не осталось свободного. Я тебя рекомендую... Только смотри у меня! Чтоб не осрамиться...

– Зачем срамиться? – с заметным акцентом вступилась Минна Ивановна и ласково погладила пушистую головку дочери. – Она у нас хорошее дитя...

– То-то... хороших теперь много, дельных мало... ещё форшмаку, мама, хотите? – Она нарочно отвернулась, чтобы не видеть задрожавших губ «плаксы» Сони.

На самом деле она страстно любила сестренку. Отец Катерины Федоровны, обрусевший немец и русский подданный, учитель музыки, бросил семью и сошелся с другой женщиной, когда Кате было десять лет, а Соне минул год. Минна Ивановна, выплакав все глаза, принялась за поиски труда и, после долгих мытарств, попала в кастелянши в один из женских институтов

⁹⁵ Гретхен – героиня I части трагедии Гете «Фауст», юная девушка, воплощавшая идеал немецкой красоты.

на грошовое жалованье. Зато ей давались казенная квартира и стол, а, главное, Катя, а впоследствии и Соня, были зачислены на казенный счет. Кроткая m-me Эрлих очень полюбила начальнице.

Через три года Эрлих внезапно скончался. Это глубоко потрясло Минну Ивановну, которая давно «простила» мужу его измену и не переставала его любить.

Странно отразились все эти страдания на подростке Кате. Страстно любя мать, она затаила в своем ожесточившемся сердечке все слезы и обиды Минны Ивановны. В долгие зимние ночи, в маленькой комнате кастелянши (Катя числилась экстерном), тринадцатилетняя девочка просыпалась от глухих рыданий матери. Дрожа от стужи, обняв худенькие колени, слушала она напряженно эту горькую сказку... Так плакать о мертвеце можно только любя... За что же она его любила? Что давало ей силу прощать?.. В этих тайнах человеческого сердца девочке чувствовалось что-то жуткое...

Наконец жалость брала верх.

– Мама, полно!.. Не плачьте! – шептала она, босиком перебегая комнату.

– Катя! Катя!.. Kindchen!⁹⁶ – с взрывом скорби вскрикивала мать, обхватывала черненькую головку и рыдала на груди Кати. И девочка сквозь судорожные всхлипывания слышала: «Боже мой! Как я его любила, Катя! Как мне тяжело без него!.. Пусто...».

Один раз Катя не выдержала. «А о нас вы забыли?» – с горечью взрослой бросила она матери.

С её точки зрения, мать теперь была счастлива. Свобода, самостоятельное положение, впереди пенсия... О чем же сокрушалась она, в браке видевшая столько унижений?

Постепенно все тайны этого печального супружества раскрывались перед подраставшей девочкой. Минне Ивановне доставляло наслаждение говорить о покойнике, об их встрече, о днях первой любви, о так быстро промелькнувшем счастье... Странную, болезненную радость доставляли ей рассказы об его изменах, обидах, как он унижал ее, бил в пьяном виде и как сладко было всё это терпеть!.. Потому что она любила...

– Не понимаю, – упрямо и враждебно твердила Катя.

Недалекая немочка совсем не умела разглядеть суровой души в этой девочке и, тихо улыбаясь и покачивая головой, шептала: «Придет время, все поймешь! И все простишь...»

– Я? – Синие глаза вспыхивали дикой страстью, и румяные щеки бледнели. – Никого не полюблю!.. И замуж никогда не выйду. И никто меня не унизит!

Катя кончила с золотой медалью. В институте ярко сказала её музыкальность. Она была лучшая пианистка. Поэтому когда она поступила в консерваторию прямо на шестой курс, её сразу приняли стипендиаткой. «Работайте, – сказал ей профессор, – перед вами большое будущее... Кто знает? У нас будет, может быть, ещё Менцер или Есипова⁹⁷».

Мечта, волшебная птичка, коснулась и Кати своим золотым крылом. «То был лишь миг...»

У Минны Ивановны отнялись ноги.

Положим, после первого удара она скоро оправилась. Но новая начальница, не ценившая заслуг, оставила старушку только дожить до пенсии. Надо было думать о семье.

Тогда началась трудовая жизнь Катерины Федоровны. ещё не кончив консерватории, она бегала по урокам. Получив диплом свободного художника, отмеченная за выдающийся талант, она ни разу не подумала о карьере артистки, блестящей, но рискованной. «Дайте мне заработок, – сказала она директору. – У меня безногая мать и сестра на плечах...» Она работала, как батрак, получая двести рублей в месяц, пристроившись преподавательницей в институте, где училась раньше. Мать она взяла к себе и создала ей чудесную жизнь. Она удалила от неё

⁹⁶ Деточка! (нем.)

⁹⁷ С. О. Менцер (1846–1918) – пианистка, композитор и педагог. А. Н. Есипова (1851–1914) – пианистка и педагог.

все дразги и хлопоты, все взяла на свои плечи, не позволяя себе ни одной слабости, ни одного увлечения.

Она не заметила, как ушла юность...

Все её уважали, никто не любил. Даже Минна Ивановна побаивалась ее. И ни у матери, ни у Сони настоящей нежности к Кате не было никогда. Между сестрами вообще ничего не было общего. Соня вышла вся в мать, безвольная и романтическая.

Когда Соне было семь лет, ей задали басню «Стрекоза и муравей». Девочка неожиданно расплакалась.

– О чем? – удивилась мать, баловавшая ребенка втихомолку от Кати.

– Стрекозу жалко, – рыдала девочка. – Ей холодно... кушать нечего... Жестокий муравей!..

Катя громко и заразительно хохотала.

– Ну, не дура ли ты? Нашла о ком плакать!..

– Ей холодно...

– Сама виновата. Таким всегда будет плохо... И муравей прав. Жалеть таких не стоит!.. Муравей не жадный, а только умный... Что посеешь, то и пожнешь!

Соня долго и внимательно поглядела на сестру словно в первый раз её увидела. Вся её маленькая душа кричала мятежно: «Нет! Нет!..» против этой беспощадной житейской философии...

Разлад проник в детское сердце. Чем больше Соня вглядывалась в неласковые синие глаза, в эти твердо сжатые губы, в упорное выражение бровей и подбородка, тем яснее облекался для неё образ «муравья» в чертах Кати... Когда же она, болезненная, рассеянная и ленивая, получала дурные отметки и плакала в ожидании гнева Кати, она чувствовала себя «стрекозой».

Соня обожала животных. Брезгливая и чистоплотная Катерина Федоровна не выносила их.

Они жили на даче в Мазилове, в убогой избе, когда Соня нашла в канаве замороженного котенка. Плача от жалости и целуя облезлую мордочку, Соня тайком принесла его домой. Но Катерина Федоровна узнала, пришла в ужас от гноящихся глаз котенка и от его облезлой шерсти.

– Вон эту дрянь! Чтоб духом его не пахло здесь! – закричала она. – Заразит чесоткой. Он больной... Да как ты смела?

Это была целая драма для ребенка. По приказанию Катерины Федоровны кухарка забросила котенка в лес, а Соня заболела с горя... И разлюбила сестру...

Так она и выросла, не любя ее, только трепеща перед нею, всегда готовая обмануть, готовая променять её на подругу, на девочку-нищую, на поднятого с улицы щенка; не оценив самоотвержения Кати, не поняв всей глубины её любви к семье...

Но иногда и Соня переживала на себе чары этой сильной индивидуальности. Случалось это в праздники, когда Катерина Федоровна садилась за рояль. Тогда все недоговоренное, недопетое суровой жизнью, бурно выливалось в талантливой импровизации... Слышались слезы экстаза, реяли забытые мечты. Задавленные нуждой юные порывы как бы молили о чем-то в этих звуках... «Мы ещё живы... – рыдали они. – Дайте нам простора! Дайте счастья!..»

Вся побледневшая, вся потрясенная, Соня тихо входила в комнату, и слезы восторга дрожали в её прекрасных глазах. Эта музыка сближала её душу с душой сестры. Она раскрывала перед ней самой какие-то мерцающие дали, полные миражей... Она говорила ей, что, как ни сурова душа Кати, – мечта знакома и ей... Пусть спит она на дне её сердца, как околдованная злой феей царевна! Придет час, и смелый рыцарь разобьет оковы сна и крикнет царевне: «Проснись!..»

Иногда Соня видела экстаз в лице Кати. Это бывало в симфонических собраниях, куда обе сестры имели всегда через консерваторию бесплатный вход. Особенно памятен ей концерт Софии Ментер... Как сейчас, видит она совсем иное, совсем чужое лицо Кати; всю её позу, эту потупленную голову, эти плечи, как бы согнувшиеся под непосильным бременем счастья и... страдания... Никто во всем зале не умел так слушать... А когда Катя подняла голову на гул аплодисментов и далекими взорами озидала толпу, как бы не чувствуя, как бы не видя ее, – Соня поняла, что в душе Кати живет поэт, которого не убили ни горькое детство, ни печальная юность, ни вся эта тусклая, бедная жизнь...

И в эти минуты Соня любила сестру...

Конкины были богатые купцы, довольно образованные, с внешним лоском. Они не жалели денег на воспитание детей. Катерину Федоровну они очень ценили и обласкали Соню, когда она сменила сестру... Конечно, они не преминули платить ей дешевле, но Катерина Федоровна не гналась за платой. Ей хотелось, чтобы Соня в чужом доме почувствовала себя легко. А Конкины доверяли учителям и держались корректно.

Как-то раз к Конкиным приехала Засецкая. Соня глядела на нее, как околдованная, и почти ничего не ела за завтраком. Это наивное восхищение тронуло Засецкую. Их познакомили. Перед Ольгой Григорьевной Конкины буквально преклонялись. Она говорила только о театре – новых пьесах, об актерах казенной сцены и Художественного театра, которых она называла по именам. Она у них винтила; она кормила их ужинами; на неё и на артисток шила одна и та же портниха... Конкины, тоже абонированные в опере и в Художественном театре и посещавшие «из моды» все первые представления, втайне давно уже мечтали через Засецкую залучить к себе «знаменитостей» на обед или на винт. Теперь имя Тобольцева было беспрестанно на устах Засецкой.

– Ах, он очень интересный человек! – соглашалась Конкина, вздергивая худенькие плечи.

– Что же вы играете теперь? – спросил хозяин. Он цедил по-английски слова. Он бредил Лондоном. Ему страстно хотелось прослыть за денди⁹⁸. Это было его жизненное призвание.

– Опять идет «Гроза», и я играю Катерину.

– Душечка!.. Да неужели? Ермоловскую роль?.. Трусите?

– ещё бы!.. Разве это мой *genre*⁹⁹? Но так хочет Тобольцев.

– Ска-жи-те!?

– Он замучил репетициями... Вот горе только! Варвара у нас плоха... Совсем нет бытов-вой молодой любительницы.

– Ска-жи-те!!

– Тобольцев с ног сбился... Он в Кудряше – чудо! Прямо «неотразим»! Ха!.. Ха!.. И представьте... Лучшие его места с Варварой, а она никуда не годится...

– Ска-жи-те!!!

– Вы ложу-то нам не забудьте записать, – напомнил Конкин. – А что у вас ещё намечено?

– «Блуждающие огни»¹⁰⁰... Макса будет играть Чарский. Настоящий артист... Он будет очень недурен. Я уже устроила у себя маленькую считку *en petit comite*¹⁰¹...

– *Vraiment?*¹⁰² – Конкин так вскинулся, бросая стремительно этот вопрос, что даже ноги его дрыгнули и монокль упал. Звук французской речи всегда приводил его в возбуждение.

⁹⁸ Денди (от англ. dandy) – щеголь, франт.

⁹⁹ Жанр. (*фр.*)

¹⁰⁰ «Блуждающие огни» (1873) – комедия-мелодрама Л. Н. Антропова.

¹⁰¹ В малом составе (*фр.*).

¹⁰² Неужели? (*фр.*).

– Но опять горе! Нет у нас хорошей Лели... Вы знаете, Вера Аркадьевна, какая здесь нужна тонкость и красота? Леля – это фарфоровая куколка... *Poupée de Saxe*¹⁰³...

– *C'est ça... Poupée de Saxe...*¹⁰⁴ – Конкин лихорадочно потрепал свои рыжие бакены (по-английски).

Засецкая вдруг улыбнулась Соне.

– Вот если б вы взялись... Вы были бы идеальной Лелей. Вы не играете?

Соня покраснела.

– О нет!

– Ах, жаль!.. А то попробуйте...

– Нет!.. Ради Бога... – Соня мягко грусствовала, и у неё выходило: «хади Бога...»

Все рассмеялись её смущению. Но у Засецкой уже зародилась «комбинация»... Она не привыкла встречать препятствий.

– Мне бы хотелось, чтоб вы были на спектакле... Вы любите театр?

– Ужасно! – в экстазе сказала Соня.

– Ах, как вы прелестны! – искренне сорвалось у Засецкой. – Вы – тип Офелии... *N'est-ce pas, monsieur Paul? Un vrai type anglais?*¹⁰⁵ – спросила она хозяина с чисто парижским акцентом.

Тот в экстазе, польщенный, задержался руками и ногами, как паяц.

– И я уверена, что у вас есть талант... Вы так хорошо сейчас сказали это «ужасно»!.. Позвольте вас поцеловать... Ах, это надо устроить! Можно вам привезти билет на этот спектакль? *Gratis, sans doute...*¹⁰⁶

– Oh!.. *Cela va sans dire!*¹⁰⁷ – не преминул откликнуться Конкин, внимательно разглядывая в монокль эту учительницу, которую раньше он так мало замечал. Впрочем, это внимание ничем не грозило Соне... Конкин был слишком занят спортом, яхт-клубом, теннисом, своими штикетами, запонками, костюмом, ракетками... И темперамента у него не было.

– Я, право, не знаю... что скажет Катя?

Засецкая сдвинула брови.

– Кто это Катя?

Решено было, что и «Кате» дадут билет. Лишь бы ехали!..

На прощание Засецкая опять поцеловала Соню, обдав её опьяняющим запахом каких-то незнакомых духов. Перед этой «барыней» с ног до головы сама Конкина, маленькая, черненькая, вертлявая, с взбитыми и спускавшимися на уши волосами, ещё разительнее, чем когда-либо, напоминала маленькую собачку.

Соня вернулась домой, не слыша под собой ног. Но Катерина Федоровна на её восторженные восклицания крикнула:

– Это Засецкая-то аристократка?.. Да я ей руки не подам!

Соня упала с небес.

– За что?..

– За все! – сердито отрезала сестра.

– А как же Конкины? – пролепетала Соня.

– Ну что Конкины?.. Известно, купцы... Были бы деньги, они готовы пятки лизать... А тебе она не компания. Чем от неё дальше, тем лучше!

Соня вечером подслушала разговор сестры с матерью.

¹⁰³ Саксонская статуэтка (*фр.*).

¹⁰⁴ Правильно... Саксонская статуэтка... (*фр.*)

¹⁰⁵ Не так ли, мосье Поль? Истинно английский тип? (*фр.*)

¹⁰⁶ Конечно, даром... (*фр.*)

¹⁰⁷ – Это само собой разумеется! (*фр.*)

– Засецкая, – говорила Катя, – состоит содержанкой одного старого миллионера. Когда по такой дороге идут из нужды, необразованные, которым все пути заказаны... А она? И хоть бы уж молодой был любовник! А тут один расчет. Мерзость!

Минна Ивановна не перечила. Она только смиренно молила не отказываться от билетов. Ведь у бедной девочки так мало развлечений. Катерина Федоровна насупилась и промолчала. Это был уже хороший признак. Соня решила молча выжидать, а Минна Ивановна систематически повела атаку. её огорчения Катерина Федоровна боялась больше всего на свете, напуганная докторами. Огорчение могло вызвать третий удар, то есть смерть.

– Ну хорошо...ну ладно! – с напускной резкостью дня через два согласилась Катерина Федоровна. – Отчего раз не съездить? Но только уж играть там самой?.. Ни в жизнь! Выкинь из головы эту дурь! Воображаю, какой там вертеп!

Вот каким образом сестры Эрлих очутились в *** клубе.

XI

Шла «Гроза». Театр был полон.

Засецкая играла нервно, с огнем, хотя в первом акте была «барыней», что она сама чувствовала, к её великому огорчению. Чернов-Борис – тоже был недурен, хотя некстати впадал в трагизм и «дрыгал коленками»...

Но вот показался Кудряш. Взрыв единодушных, долгих аплодисментов встретил Тобольцева. «Где я его видела? Какой красавец!» – думала Катерина Федоровна, не отводя бинокля.

От его жестов, голоса, смеха веяло беспредельной ширью и удалью. Молодежь сделала ему за третий акт овацию, как настоящему артисту... Из оркестра подали венок. «От Засецкой», – шептали кругом, двусмысленно улыбаясь. её «муж» сидел в первом ряду, и по окончании спектакля Катерине подали громадную корзину цветов. Чернов за кулисами кусал губы, боясь заплакать от боли.

«Где я его видела?» – упорно думала Катерина Федоровна, следя за Тобольцевым, когда он вошел в танцевальный зал, во фраке, с значком распорядителя. Он открыл бал с Засецкой, очень эффектной в новом светло-зеленом платье от Дусэ. Насупившись и чуть-чуть побледнев, Катерина Федоровна следила за Тобольцевым из своего угла и наслаждалась каждым его движением.

Следила за ним и Лиза, приехавшая с Фимочкой. Обе сидели в компании Конкиных. Лиза была угрюма, бледна и не слушала «судачанья» дам, которые разбирали туалет Засецкой и говорили «гадости»...

Но Засецкая умела идти к цели. Она познакомилась с Катериной Федоровной и представила обеим сестрам Чернова и Тобольцева. Конечно, они уже были посвящены в её план.

На Катерину Федоровну Тобольцев не обратил никакого внимания, но ласково улыбнулся Соне, которая вся загорелась под его взглядом. С покровительственной нежностью обнял Тобольцев худенькую талию девушки, и они танцевали долго, как бы в упоении, под мечтательные звуки старинного немецкого вальса. Соня с таким откровенным, наивным восторгом смотрела в потемневшие глаза Тобольцева, от её улыбки и взглядов веяло такой непосредственной, такой яркой, такой голой жадой любви, что у него дрогнули нервы.

А Катерина Федоровна думала: «Что за чудесная парочка!»

– Какая красавица! – сказал Тобольцев, подходя к Лизе и садясь рядом. – Ты заметила? ещё бы она не заметила этого нового увлечения!

В эту ночь обе сестры Эрлих не спали. На другой день ходили задумчивые и притихшие. Каждая думала о Тобольцеве.

«Где я его видела?» – напряженно спрашивала себя Катерина Федоровна. В её наивности ей казалось, что стоит ей только вспомнить эту ускользающую от сознания обстановку первой встречи, как сейчас она и забудет о Тобольцеве... Все дело в том, чтоб вспомнить.

Дня через два неожиданно, в сумерки, приехала Засецкая. Катерины Федоровны дома не было. Гостью приняла Минна Ивановна. Соня поила её чаем. Засецкая просила час и очаровала хозяйку. Она просила Соню принять участие, в водевиле «Аллегри»¹⁰⁸. Там была роль молоденькой барышни, чиновничьей дочери. Послезавтра репетиция. У них нет водевильной ingenue¹⁰⁹...

Соня чуть не заплакала от обиды.

– Катя не позволит... Ни за что не позволит! – твердила она, ломая пальчики.

– Почему?... Такое невинное развлечение?

– Да уж знаю, что не позволит! – У Сони губы прыгали, и Минна Ивановна сконфуженно старалась замять разговор.

Но каковы же были радость Сони и удивление матери, когда Катерина Федоровна, с нахмуренными бровями выслушав о визите Засецкой и её предложении дрогнувшим голосом, вся покраснев, ответила: «Н-не знаю... Подумаю...»

«Согласится! Наверно...» – поняла Соня, и, когда сестра вышла, она чуть не задушила старушку в объятиях.

– Когда репетиция-то? – как будто небрежно спросила Катерина Федоровна за утренним чаем.

– Репетиция?... Завтра... в восемь вечера... – так и сорвался, так и зазвенел голос Сони.

– А у тебя нет завтра никаких спешных занятий?

– У меня-то нет, Катя... Вот только ты...

– Ну, в восемь не поспеем. К половине десятого будем там... Авось не один водевиль репетировать будут...

– Катя! – крикнула Соня и кинулась сестре на шею. Та с застенчивой и молодой улыбкой отбивалась от этой непривычной ласки. Через секунду они обе уже сконфузились своей экспансивности и как бы раскаялись в ней.

На другой день, ровно в половине десятого, обе сестры Эрлих входили в подъезд ***-го клуба, смущенные и взволнованные необычайно... По настоянию Засецкой, их встретили приветливо. Сама она и Тобольцев были так любезны, за самоваром было так уютно, что даже дикость Катерины Федоровны исчезла, а Соня совсем овладела собой и стала кокетлива. Заметив восхищение в наглых, красивых глазах Чернова, девушка вся заискрилась, словно шампанское.

Чернов, по дороге домой, божился Тобольцеву, что «девчонка» в него влюбилась...

– И такая шель-ма, я тебе скаж-жу! С огоньком... По секрету призналась мне, что мечтает о сцене... Сестрицы, как огня, боится! Да и злющая эта сестрица... черт её подери!.. Вот бы повенчаться с такой, да и махнуть в провинцию! На дебют-т... Я – Макс..., она – Леля!

Тобольцев, по обыкновению, не слушал.

Но Соня на сцене не проявляла никакого таланта: робела, говорила деревянным голосом, не знала, куда деть руки. Только одно личико и «вывозило»... Тобольцев теперь не обращал на неё внимания, убежденный в её бездарности. ещё менее замечал он Катерину Федоровну. Тогда и вся труппа как бы отхлынула от обеих сестер, находя, что и так носились с ними достаточно и «не по чину»...

Верен остался один Чернов. Он «жестоко» ухаживал за Соней. Но ухаживание его было совсем особого рода. Он если не говорил ей о себе, то молча глядел на нее, иногда томительно

¹⁰⁸ «Аллегри, или Взявшись за гуж, не говори, что не дюж» (1849) – шутка-водевиль Оникса (Н. И. Ольховского).

¹⁰⁹ Инженю (фр.) – театральное амплуа: на сцене – наивная девушка

повторяя какое-нибудь слово, как будто его мозгом овладела навязчивая мысль. «Катя», – скажет Соня. И он начинал, раздумчиво глядя перед собой, повторять: «Катя... гм... Катя... Да-а... Катя...» Соня станет говорить о Конкиных. Он вдруг прицепится к этому слову и пойдет повторять: «Конкин... д-да... Конкин... гм...» Как будто ища какого-то загадочного смысла в этой безобидной фамилии.

Тобольцев раздражался этой привычкой: «Мозги, что ли, у тебя туго варят? Что за идиотство!.. Чисто попугай!»

Трудно сказать, замечала ли Катерина Федоровна это охлаждение Тобольцева? Важно то, что она уже не нуждалась ни в чьей любезности. Вечерние огни клуба манили ее. Как и Соня, весь день давая, словно во сне, уроки, она только и жила ожиданием этих часов. Жизнь вдруг стала такой красочной... На репетициях Катерина Федоровна садилась в уголок, где-нибудь в тени, и не сводила глаз с Тобольцева.

Но и не она одна испытывала на себе странную прелесть этих вечеров. Стоило недельку походить на эти репетиции, как уже эта обстановка втягивала. Вокруг чайного стола (в складчину подавались бутерброды, покупались чай и сахар) шли жаркие споры об искусстве, о выборе пьесы, об её типах, о раздаче ролей... Тобольцев охотнее всего прислушивался к речам Засецкой. Она много читала, многое видела за границей и имела оригинальные взгляды. А главное – она искренно увлеклась сценой... Она любила её не из скуки, не из моды, а из-за того сказочного мира новых переживаний, которые жизнь дать ей не могла. Он это ценил.

«Идиот-т! – думал Чернов, сам настойчиво и немного нахально ухаживая за „содержанкой“. – И чего он ждет? Проворонить такую роскошную женщину!..» В его расчеты не входило раскрывать глаза товарищу, которому он всегда был рад «подложить свинью», по его собственному выражению.

Между всеми членами этого кружка бессознательно завязывались какие-то интимные отношения. Являлась привычка видеть ежедневно те же лица кругом... Молодой смех, шутки, легкий флирт – всё это после целого дня труда подымало как-то, слегка кружило голову... Так хотелось быть остроумным, интересным, счастливым!.. Нередко влюбленные парочки уходили под руку из освещённого зрительного зала в гостиную, где были такие таинственные уголки... Эта влюбленность, которая носилась в воздухе, отравляла, как угаром, самые крепкие головы. Не ушла от этого и Катерина Федоровна. Но она долго не понимала себя.

Ее обыкновенно просили разливать чай, и она самоотверженно хозяйничала целый вечер за самоваром, следя за оживленными лицами Засецкой и Тобольцева, прислушиваясь к его смеху, от которого у неё блаженно вздрагивали все нервы.

А Соня огорчалась равнодушием Тобольцева, ревновала его к Засецкой и *par depot*¹¹⁰ кокетничала с Черновым, не подозревая, что и *jeune premier*¹¹¹ снисходит к ней из досады на «содержанку», чтоб уколоть надменную Засецкую.

Почти за два дня до спектакля вышел маленький скандалчик. Любительница, которой предложили ответственную роль кухарки (комический персонаж) в водевиле «Аллегри», прислала письменный отказ от роли. Тобольцев за голову схватился. У него осталась ещё надежда, что кто-нибудь возьмет на себя эту роль. Но вечером, на репетиции, все стали отказываться. Всем хотелось быть со сцены красивыми и молодыми.

– Ну хотите, я сыграю? – вызвалась Засецкая, с преданностью глядя в лицо Тобольцева. – Боюсь только испортить... У меня ни одной комической интонации нет от природы...

– Да и какая же вы кухарка? Курам на смех! – крикнул «благородный отец», учитель по профессии.

– Давайте наскоро срепетируем один из старых водевилей, – предложил «резонер».

¹¹⁰ С досады (*фр.*).

¹¹¹ Первый любовник: театральное амплуа.

– А вы забыли об афише? – тоненьким голосом девочки напомнила *ingenue dramatique*¹¹². – Они уже отпечатаны.

Ероша волосы, Тобольцев подошел к столу где сидели сестры Эрлих.

– Ну что прикажете делать с таким народом? – заговорил он, подсаживаясь и беря из рук Катерины Федоровны совсем машинально стакан чаю. – Они не хотят признавать ансамбля... того ансамбля, который создал знаменитую мейнингенскую труппу¹¹³, где каждый статист – в то же время артист, неизбежное и одинаково важное звено общей цепи... где нет первых и последних ролей, где все роли одинаково нужны... А разве у нас здесь понимают задачи искусства? Для них это забава... Чтобы содействовать успеху спектакля, я готов стулья выносить на сцену, а они... – И он махнул рукой с невыразимым презрением.

Соня чуть не плакала.

«Резонер», по профессии телеграфный чиновник, подсел к столу и, жуя бутерброд с колбасой, рассказал трогательный случай... Ставили в кружке зимою «Ошибки молодости»¹¹⁴. Засецкая играла княгиню. В третьем действии у неё рискованная сцена истерики, когда, после объяснения с управляющим Сарматовым, тайно любимым ею, она узнает, что у него есть невеста, которой он ещё давно дал слово... Это и есть ошибка молодости... Он уходит. Она рыдает над погибшей мечтой...

На сцену выходит лакей, внося лампу. Увидав рыдающую княгиню, он испуганно бежит в дверь и кричит: «Ее сиятельству дурно... Воды!» Тут один шаг до смешного. Стоит лакею сделать глупое лицо или закричать несурзанным голосом, как вся сцена пропала. Публика будет хохотать, как безумная. Засецкая это прекрасно понимала и капризничала невыносимо...

– Вы хотите сказать – не капризничала, – сурово перебил Тобольцев, – а была строга в выборе... Я её вполне понимал.

– Ну да, ещё бы!.. Словом, пять человек переменяла в этой сцене... Не годится никто, да и только! Рвет и мечет барынька... Тогда Андрей Кириллыч встает. «Я, говорит, лакея сыграю!» Представьте, это с его-то комизмом! Мы все рассмеялись. А она как вскочит, как всплеснет руками!.. Сразу в него поверила... Что ж вы думаете? Превосходно сцена сошла! Вот ведь от каких мелочей иногда успех зависит...

– Потому что, повторяю вам, в искусстве нет мелочей!

– Д-да-с, – подтвердил «благородный отец». – И выходило так, что роль лакея была не менее ответственна, чем роль княгини. Позвольте и мне стаканчик...

– Андрей Кириллыч дал нам тогда хороший урок...

– Оно и видно! – желчно усмехнулся Тобольцев.

Катерина Федоровна то краснела, то бледнела.

– Давайте, я сыграю кухарку, – неожиданно предложила она, дождавшись паузы.

Серые глаза Тобольцева вспыхнули.

– Вы?!

– Ну да... Трудно, что ли? – резко спросила она.

Он внимательно поглядел в её лицо, на котором сгустился румянец. её насупленные брови дрогнули.

«Вот кремень-девка!» – подумал он невольно.

– Как вам сказать? Роль-то ответственная... Все-таки комический персонаж...

– Да ведь у вас нет выбора, – вдруг рассмеялась Катерина Федоровна. – Чего ж вы торгуетесь?

¹¹² Инженю-драматик: театральное амплуа – простодушная, глубоко чувствующая молодая девушка.

¹¹³ *Мейнингенская труппа* – артисты немецкого театра Г. Мейнингена, в котором утверждались принципы ансамбля и высокой постановочной культуры. В 1885-м и 1890 гг. театр гастролировал в России и оказал влияние на формирование сценических принципов МХТ.

¹¹⁴ «Ошибки молодости» (1870) – комедия П. П. Штеллера.

Он ещё раз пристально посмотрел в её глаза и невольно ответил сочувственным смехом.
– По рукам! – возбужденно крикнул он, протягивая руку.

Она угловатым движением подала ему свою и стиснула бессознательно его пальцы. Он чуть не крикнул от неожиданности и боли! «Вот так силища!.. И какое славное, честное лицо!.. Именно „честное“... И глаза какие!.. В ней чувствуется личность... И как это я её раньше не замечал?»

– Пожалуйте на сцену, кто в первом акте! – воскликнул он, подымаясь из-за стола. В голосе его затрепетали какие-то новые нотки захватывающей жизнерадостности, и на окружающих они подействовали, как шампанское на утомленного человека.

– Катя! Милая... Спасибо! – прошептала Соня. Она верила, что сестра это делает только для нее. Катерина Федоровна поглядела на Соню большими глазами, но промолчала.

На репетициях она ничем не проявила себя; была застенчива и угловата; только голос её низкого тембра и интонации её прекрасно подходили к бытовой роли.

– Сойдет, – ласково говорили все. – Да... эта, пожалуй, обыграется... Не такой балласт, как сестрица, – замечал «резонер», сам лет пятнадцать игравший в кружках и считавший себя за знатока.

– Что она? Барышня? Замужем?.. Кто такая? – спрашивал Тобольцев Засецкую, провожая её домой. Она рассказала все, что знала от Конкиных. Назвала цифру заработка.

«Вот она какая!» – подумал он и на другой же день так заметно изменил свое обращение с сестрами Эрлих, что ревнивая Засецкая это почувствовала первая.

ХII

Спектакль на этот раз был очень удачен. Засецкая превзошла себя в роли Лидии в «Блуждающих огнях».

– Боже мой... Какие умопомрачительные туалеты! – жаргоном уличной газеты восторгалась Конкина, вбегая в уборную и поднимая худенькие плечи до ушей. – Неужели опять от Дусэ?

– В четвертом от Дусэ. Вчера только получила...

– Ска-жи-те! Воображаю, как вы волновались!

– Целую ваши ручки, – взволнованно говорил Тобольцев Засецкой. – У вас талант... Была минута... во втором действии... когда у меня слезы зажглись в глазах...

У неё запылало лицо.

– Как я счастлива! Если б вы знали, что для меня ваша похвала!

Чернов в роли Макса был недурен, главное, он казался настоящим баричем. В последнем акте он имел огромный успех. Монолог прочел с неподдельным подъемом.

Леся никуда не годилась, и Соня, вспоминая поэтичную сцену признания, думала: «Если б теперь мне дали эту роль! Что я сделала бы из нее!..» Она уже начинала страдать от ревности. В ней просыпалась и зрела женщина.

Перед самым началом водевиля Тобольцев, с книгой в руках, направился за кулисы, чтоб выпускать артистов. В полусвете он наткнулся на какую-то старуху. Она стояла в валенках, в деревенской шубке, покрытая большой шалью. Шубка была кое-где продрана, шаль тоже довольно ветхая.

– Позвольте, милая, – сухо сказал он ей. – Вы бы посторонились... Сейчас актеры пойдут...

– Небось, барин, без меня-то не обойдетесь... Не очень гоните, – усмехнулась баба. Голос был молодой и знакомый.

Вся кровь кинулась в лицо Тобольцеву.

– Катерина Федоровна!.. Неужто вы?!

– Кухарка, с вашего позволения...

Он схватил её руки, подтащил её к стенной лампочке и с восторгом смотрел в это художественно загримированное лицо, на котором сейчас в молодой улыбке так чудесно сверкнули зубы. Он с наслаждением оглядывал этот до мелочей продуманный туалет. Особенно тронули его деревенские валенки, огромные, черные, безобразившие ногу. Катерина Федоровна выпростала их, как и шаль, у дворничихи, приехавшей к мужу из деревни.

– Знаете? Это тот художественный реализм, на который даже великие артисты не всегда способны! Видали вы, как в Малом театре и в опере пейзажи изображают? Открытые туфельки вместо лаптей, сарафаны с иголки... И как смешны и фальшивы они все в бытовых ролях! А вы-то!..

– Значит, хороша, коли вы не признали! – рассмеялась она.

– Послушайте, Соловьев, – обратился Тобольцев к своему помощнику, – я пойду в места. Вот вам книга. Выпускайте их сами... Ради Бога, не напутайте!

В необъяснимом, казалось, волнении он побежал в места.

Предчувствие не обмануло его. Первый выход Катерины Федоровны вызвал взрыв хохота. Что это была за неподражаемая кухарка! Что за крадущаяся походка! Что за правдивый тон! Она вошла и остановилась в дверях, сложив по-деревенски руки над животом. Она ещё не сказала ни слова, но лицо её было так комично, что ей не давали почти говорить. Смех стоял в зале. Когда она ушла, раздались бешеные вызовы. Весь красный, Тобольцев кинулся за кулисы.

– Вы – талант! Вы – истинный талант! – говорил он, сжимая до боли руки дебютантки. – И как я, дурак, не угадал этого с первой же минуты?

Она смеялась низкими грудными нотами, и глаза её сияли непривычной радостью и лаской... Да, она смело ласкала все его лицо своим горячим взглядом, ни минуты не допуская в нем возможности увлечься ею, как женщиной; искренно веря, что её личная жизнь кончена.

Во втором акте Катерина Федоровна играла неподражаемо, как настоящая артистка. Вдруг как-то оказалось, что роль её – лучшая во всем водевиле. Ей сделали овацию.

Тобольцев ходил гоголем и выглядел именинником.

– Вот так находочка! – говорил он, нервно потирая руки.

После спектакля он стоял у входа в зал, ожидая появления дебютантки без грима.

– Вот она! – сказал кто-то рядом.

– Такая молодая?! – И знаете? Недурна!.. – Воля ваша, не мог бы я увлечься женщиной, которая играет старух.

«Дурак!» – подумал Тобольцев.

Катерина Федоровна вошла румяная, сияющая, в шерстяном черном платье, которое ловко сидело на её сильной фигуре. За нею шла Соня, в белом, красивая, как мечта... Не обращая внимания на прекрасную девушку, Тобольцев поцеловал руку Катерины Федоровны и поблагодарил её за успех спектакля.

Она покраснела от его взгляда и ласки до белка глаз.

– А вы ещё торговались! – напомнила она с счастливым смехом.

– Назовите меня идиотом!.. Я ничего большего не заслуживаю...

Одна Соня ничему не удивлялась. ещё подростком Катя так умела всех «представить» и так смешила Минну Ивановну в её грустные минуты!

Весь вечер Тобольцев проговорил с Катериной Федоровной и даже вытащил её танцевать кадрили. Но она была очень неуклюжа в танцах, и ему самому стало досадно, что он испортил обаятельное впечатление.

– Нравится она тебе? – спросил он Лизу, подходя к её «уголку», где она всегда присаживалась. И, не дождавшись ответа, он возбужденно взъерошил волосы: – Интересная натура,

скажу тебе! Самородок... Помнишь, мы видели с тобою картину Малявина¹¹⁵ «Бабы»? От них веет какой-то черноземной силой... Стихийной силой... Честное слово, она мне их напонила... В ней есть тоже что-то, волнующее нас органически, бессознательно... В ней бездна темперамента...

– О чем вы грустите, Сонечка? – вкрадчиво спросил Чернов.

– Так... Ни о чем!

– Ревнуете? Плюньте, мой ангел, на Андрюшку!.. Ведь это переметная сума. И не стоит он ни одной вашей слезинки...

– Я разве плачу? – вспыхнула Соня, и губы у неё задрожали от безумного желания заплакать.

– Вы вот лучше меня полюбите, Сонечка, – с неподражаемым нахальством заявил он вдруг, наклоняясь к её розовому ушку. – Поедем мы с вами в Казан-нь, и вы будете дебютировать в роли Лели...

У Сони вырвался вздох. Ах! Эта сцена в саду... Она видела себя, озаренную бутафорской луной, на крыльце картонной дачи, в белом платье... «Макс, я люблю вас...» И перед нею встает лицо Тобольцева... О, она сумела бы это сказать теперь!

XIII

Барышня, исполнявшая роль Варвары в «Грозе», внезапно заболела. А между тем афиши уже были отпечатаны, и билеты разбирались охотно. Пьеса шла в пользу фельдшерниц. Тобольцев не был доволен «своей» Варварой, но все-таки он приуныл. Остается неделя. Кем её заменить?

Теперь в кружке репетировали «Позднюю любовь»¹¹⁶ Островского. Сестры Эрлих хотя и не играли, но обе были тут же. Катерине Федоровне трудно было очнуться от недавнего угара её успеха и попасть в колею. Она всю неделю жила как лунатик, и зоркая Минна Ивановна встревожилась.

В этот вечер Катерина Федоровна точно упала с облаков. Тобольцев её совсем не замечал. Раза два на её робкие вопросы он поглядел на неё через стол рассеянно и ответил с плохо скрытым нетерпением... Тогда ей стало страшно...

Она встала и медленно поднялась наверх, бессознательно ища одиночества. Парочка, тесно обнявшаяся в уголку, испуганно шарахнулась при виде ее. Она её даже не заметила. «Дура я... дура!» – твердила она почти вслух, чувствуя себя бессильной побороть бурю, которая подымалась в её душе.

О как ясно поняла она в эту минуту, что, весь день бегая по урокам, она живет только ожиданием вот этого вечера, вот этой встречи!.. Что ей надо видеть перед собой эти дерзкие серые глаза, слышать этот звучный голос, замирать от наслаждения при раскатах этого жизнерадостного смеха... Что без этого уже нельзя обойтись... Она шла, согнувшись, как раздавленная, под тяжестью этого сознания. И зеркала печально отражали её походку, её сутулые плечи, её склоненную голову.

В глубине зала стоял рояль. Катерина Федоровна наткнулась на него и остановилась. Глаза её вспыхнули. Казалось, в самую трудную минуту своей жизни она встретила верного друга, на груди которого так отраднo выплакаться.

Она села на табурет, облокотилась на крышку рояля и оперлась лбом на скрещённые пальцы рук. «Безумие! – шептала она. – Да неужто ж не справлюсь? Поддамся? Как девчонка?...» Вспомнилась Соня, и трепет пробежал по всей её игуре. «Ведь и эта тоже... Глупень-

¹¹⁵ Ф. А. Малявин (1869–1940) – художник, наиболее известный серией картин, изображавших деревенских женщин.

¹¹⁶ «Поздняя любовь» – сцена из жизни захолустья А. Н. Островского (1873).

кая!.. А он сам за всеми понемножку... И никого ему, в сущности, не нужно... этому баловню судьбы...»

Она раскрыла крышку рояля, и пальцы её с гневной силой пробежали по клавишам.

Эхо проснулось, и дрогнула тишина. Вся её ягучая тоска, все бешенство бессилия, вся подавленная страсть прорвалась в этих звуках... Казалось, душа рыдала, билась и просила простора...

Тобольцев вскочил, побледнев, оборвав на полслове разговор с Засецкой.

– Кто это? – Он указывал вверх, на темную пасть ложи, откуда к ним вниз лилась бурная, захватывающая волна звуков. Глаза Тобольцева расширились и мерцали. Все смолкли, растерянные, бессмысленно улыбаясь друг другу.

– Кто это? – задыхаясь, повторил Тобольцев.

– Это Катя, – тихо ответила Соня.

– Какая Катя? – нервно крикнул он.

– Сестра моя!..

Тобольцев посмотрел на Соню большими глазами. Потом кинулся наверх, уронив свой стул.

Она играла, сгорбившись над роялем, вся подавшись вперед, не поднимая головы, и её упрямый затылок с завитками черных волос так и кидался в глаза. Вся мощь её темперамента, угаданная Тобольцевым, выступала в этой позе ее, в удивительной силе её рук, в неожиданном богатстве и сложности нюансов, в этой захватывающей страстности её исполнения. Рояль плакал и пел под её пальцами, как живое существо... И стонал, и мятежно роптал, и в бурной мелодии раскрывал все изгибы и тайны бунтующей женской души... Она упорно глядела вниз, как бы прикованная к клавиатуре. Но её лицо было бледно, губы стиснуты, а синие глаза сверкали.

Когда она кончила, оборвав рыдающим аккордом, словно воплем о счастье, без которого она не хотела больше жить, – первое, что ей кинулось в глаза, было лицо Тобольцева.

– А!.. – глухо и протяжно вырвался у неё бессознательный возглас торжества.

– ещё!.. ещё! Ради Бога... ещё... Вы меня с ума свели!..

Она широко улыбнулась, и пальцы её ударили с новой силой по клавишам.

Она играла в каком-то исступлении, с поразительным блеском и нервным подъемом... Иногда она поднимала голову и улыбалась, встречая побежденный взгляд Тобольцева. Эта улыбка как бы говорила ему: «Видишь? Сейчас ты мой... И будешь всегда моим, пока я играю... Как хорошо!»

Был ещё один человек, для которого эта игра явилась откровением... Соня... С чуткостью женщины она уловила и эти слезы, и эти крики, и эту тоску, и небывалую красоту в игре сестры... Поднявшись с другими наверх, она увидала лицо Тобольцева, мимику Катерины Федоровны... Вся выпрямившись, она поймала её торжествующую улыбку. И когда мятежная, бурная радость огласила страстными аккордами полутемный зал, Соня поняла все... Катя возьмет свое... Катя победит!.. С нею нельзя тягаться... Ах! Она это всегда предчувствовала, маленькая, легкомысленная «стрекоза»! Она всегда знала, что погибнет, раздавленная беспощадной жизнью...

Настал час... «Царевна» проснулась...

– Что вы играли? – спросила удивленная Засецкая, когда Катерина Федоровна встала и захлопнула крышку рояля.

– Что?.. Ах, почему я знаю? – Она провела рукой по лицу, улыбаясь, как во сне. – Я никогда не помню потом...

– Неужели импровизация? – Свое? – Да, знаете ли, сударыня? Ведь у вас удивительный талант! – изрек «благородный отец».

Катерину Федоровну окружили. Мужчины целовали эти «золотые ручки», в которых «целый капитал», как выразился «резонер».

– Грех, сударыня, зарывать в землю такой недюжинный талант! – искренно говорил «благородный отец», вытирая платком вспотевшую лысину. – Чем по урокам трепаться, концерты давали бы... Это искра Божия! её надо беречь...

– А семью кормить кто стал бы за меня? – оборвала его Катерина Федоровна. – У меня мать безногая, да сестренка росла...

Все оглянулись на Соню. Она пошатнулась, словно её ударили в грудь. Ей показалось, что все глядят на неё с укором.

– Полно вам! Рисковать, выбирая карьеру артиста, можно тому, кто одинок. Мало ли из нас, консерваторок, мечтали мир удивить? А вернулись к тем же урокам...

Она никогда не говорила о себе так много, так откровенно. У неё что-то дрожало в груди.

– А теперь, когда сестра на ногах? – спросила Засецкая.

Катерина Федоровна махнула рукой:

– Ну, знаете... мечты только юности зеленой простительны... А я свою молодость на мостовой Москвы проглядела, по урокам таскаясь. У меня и тогда, кажется, мечтаний не было... Теперь и подавно...

«Нет! – чуть не крикнула Соня. – Я все знаю! И тогда были мечты, и теперь они у тебя есть... Все поняла...» Но она молчала, стиснув заолодевшие руки.

– Поздно?... Полноте! Да сколько вам лет? – горячо крикнул «благородный отец», любясь ярким румянцем и сверкающими глазами Катерины Федоровны.

Она нервно рассмеялась.

– Тридцать скоро... Все позади!.. Все!.. «А впрочем... было ли что?» – вдруг мелькнула мысль и словно ожгла ее. О, сколько горечи было в ней!..

Ока побледнела и сурово сдвинула брови.

– Домой пора, Соня! – резко сказала она, отыскав сестру глазами.

Соня стояла вдали, совсем одна, с жалким лицом.

Но Катерину Федоровну домой не пустили. Как триумфатора, её повели вниз, к свежему самовару. Теперь только её не заставили хозяйничать. Ей подали первую чашку, предложили закуску, закидали расспросами. её словно видели в первый раз. В этом кружке умели ценить таланты.

Один только Тобольцев молчал. Он ни о чем не спросил Катерину Федоровну, но он шел за нею, как тень, не сводя с неё покорного взгляда, непривычно задумчивый. И это молчание его было для неё дороже всех оваций... Весь вечер она хохотала нервно и звонко, часто без повода, не умея подавить своего возбуждения. Соня была, напротив, как в воду опущенная.

Чернов по-своему понял это настроение.

– Вы завидуете таланту сестры? – спросил он её интимным тоном, каким всегда говорил с женщинами.

Она подняла на него большие, грустные глаза: «О нет!.. Пожалуйста, не спрашивайте... Я вам ничего не скажу...»

– Как угодно, – процедил Чернов, мгновенно обижаясь.

– У меня к вам просьба, – сказал Тобольцев Катерине Федоровне в передней, помогая в первый раз сестрам Эрлих одеваться. – Сыграйте Варвару в «Грозе»! У вас есть артистический темперамент... больше, кажется, чем в любом из нас! Не откажите... Я верю, что вы сыграете превосходно...

– Попробую, – удивительно легко согласилась она. Впрочем, в этом настроении все казалось ей возможным и страшно простым... «Я точно опьянела», – думала она.

Всю дорогу домой Соня молчала, но Катерина Федоровна не замечала этого. Она была слишком полна собой.

Ночью (заснула она не скоро) она вдруг проснулась и села на постели в испуге. Соня плакала. Катерина Федоровна это слышала ясно. Когда она её окликнула, Соня смолкла и притворилась спящей.

Тогда Катерина Федоровна решительно встала, перешла комнату и села на постели сестры.

– О чем?.. Ты должна сейчас сказать мне, о чем? Не притворяйся! Я все слышала...

В властном голосе звучала такая тревога и ласка, что Соня не совладала с порывом. Она охватила шею сестры руками и, наклоня к ней свое прелестное лицо, с спутавшимися на лбу волосами, заговорила прерывисто, страстно, задыхаясь: У неё глаза раскрылись нынче, когда Катя играла... Кто-то произнес «талант»... И она поняла все. Ах, только теперь видит она, чем обязана Кате! Какую жертву она принесла семье!.. И какой неблагодарной должна была ей казаться эта сестренка Соня с её ленью... Она так часто роптала на суровость Кати... Ах, она ничего не понимала до этого вечера!.. Чем отплатит она за эту жертву? Зарыть в землю такой чудесный талант!..

– Катя!.. Катя!.. Неужели ты нас... меня не возненавидела?

– Глупая... Вот глупая! – дрожащим голосом заговорила сестра, неловко глядя волосы Сони. – Нашла о чем плакать! Как же я бросила бы вас... тебя... как щенка слепого в канаву? Небось сестра? Небось вы обе мне не чужие? И мы... на всем свете одни... Я у вас одна опора была... Да разве можно поступить иначе? Ну-ка, ты, стрекоза?.. Скажи? – с грубоватой нежностью подхватила она, беря Соню за подбородок. – Ведь и ты не кинула бы мать безногую, кабы мы от тебя зависели... «Возненавидела»... – Она вдруг расхохоталась. – Эка ведь вывезла словечко! Да что на свете выше и дороже семьи?

– Но ведь тебе жаль юности? Жаль?.. Как это ты нынче сказала? «На мостовой Москвы всю юность проглядела...» И голос какой! И потом это «поздно»... С таким выражением!.. Боже мой... Нет! Этого нельзя простить...

Катерина Федоровна словно потемнела вся и встала. Глубокие тени печали и задумчивости легли на её лицо.

– Простить... Кому простить? Где тут виноватый? Иначе не могло быть... У всякого своя судьба, Соня. Есть богатые и есть бедные. Одним все дано, и возможность развивать таланты, и возможность путешествовать... наряжаться, веселиться... любить (как бы с трудом выговорила она)... У других все отнято... Как в Библии сказано: в поте лица своего будешь зарабатывать хлеб... И больше ничего! И это моя доля... да и твоя тоже...

– Нет!.. – страстно крикнула Соня и села на постели. – Нет!

Катерина Федоровна вздрогнула невольно. Она не подозревала, что у «стрекозы», чуть не вчера ходившей в коротких платьицах, могут быть такие интонации... мысли такие...

Соня отбросила одеяло и свесила точеные беленькие ножки. «Какая она красавица!» – вдруг поняла Катерина Федоровна.

– Не моя это доля и не твоя, Катя... Нет! Я тебе прямо говорю... Лучше умереть, чем жить без радости... И неужели ты ничего не поняла нынче? Катя!.. Ведь он тебя любит...

– Кто??

– Тобольцев, конечно... Когда ты играла, его лицо... его глаза...

Катерина Федоровна задохнулась: так бешено заколотилось её сердце.

– Молчи!.. – крикнула она и схватила сестру за плечи.

– Любит... любит!.. – с отчаянием выкрикивала ей в лицо Соня. – Я все видела... И тебе стоит слово сказать... и ты будешь счастлива. Он женится на тебе...

– Молчи!.. Молчи!.. Молчи!.. – в ужасе и в иступлении твердила Катерина Федоровна и трясла сестру так, что вся тоненькая фигурка её дрожала, как молоденькая осина на ветру. И Соня смолкла, пораженная этим выражением ужаса в остановившихся зрачках сестры.

Вдруг руки Катерины Федоровны ослабели разом, разжались. Она схватила себя за голову «Боже мой!» – вырвалось у неё разбитым звуком, как бы из глубины её души. Эти слова Сони ослепили ее, ожгли... «Боже мой!» – повторила она с глубоким вздохом счастья и боли. Шатаясь, она подошла к своей постели и упала лицом в подушки.

Соня мгновенно перебежала комнату и рухнула на колени.

Истерично, бессвязно лилась её речь. Это был неожиданный порыв откровенности, горячая исповедь девичьей души... Она его тоже любит... Ну что ж? Это несчастье... Это судьба! Но она свое чувство поборет... ей сладко будет хоть этим отплатить Кате за все жертвы... Они женятся и будут счастливы... А она – Соня – уедет, поступит на сцену...

– Будет тебе вздор-то городить! – неуверенно сорвалось у Катерины Федоровны, трезвая натура которой уже бессознательно протестовала против этой дикой сцены.

– Нет! Нет! – страстно лепетала Соня, уже сорвавшаяся с петель. – Это не вздор... Ах, да разве так трудно завоевать свое счастье? – Глаза её вдруг истерически замерцали. – Хочешь, я тебе докажу, что не вздор? Если ты сама не скажешь ему, хочешь, я скажу? Катя... Катя... Дай мне ему сказать правду! Это будет так сладко...

Из прекрасных глаз Сони опять полились слезы. С неожиданной угрюмостью Катерина Федоровна отстранила сестру.

– Что сказать? Безумная девчонка?... Что ты посмеешь сказать! Что за романтические выходки! Кидаться на шею мужчине?... Откуда у тебя такая испорченность?

– Катя!.. Ты ничего не поняла... Неужели я соглашусь стать на твоей дороге? Теперь, когда я знаю, чем ты была для меня? Если ты сама из гордости не решишься ему показать, что любишь его... я ему это скажу за тебя!

– Софья! – бешено закричала Катерина Федоровна и вскочила. Соня тоже поднялась с колен. её личико горело решимостью. В нем не было ни страха, ни покорности. Любовь сравняла обеих сестер. Не было ни старшей, ни младшей. Были только две соперницы, из которых одна играла в великодушие, а другая страдала от пробуждающейся ревности, а, главное, от бессознательного отвращения, которое всякая уравновешенная натура испытывает перед истеричкой.

А Соня говорила о Тобольцеве, об его жизни... Он никого не любит... У него нет ни жены, ни... Ну, словом, свободен...

– Откуда ты всё это знаешь? – сурово спросила сестра.

Соня рассказала ей и это. Все вечера на репетициях она болтала с Черновым. Она выпытала все... Он – приятель Тобольцева, и если б у того что-нибудь было с Засецкой или с другим, он из злорадства выдал бы Тобольцева с головой...

Широко открыв глаза, слушала Катерина Федоровна. И страх закрадывался в её душу. И стыд заливал румянцем её лицо... Откуда у неё это? У ребенка, каким она её считала?... Говорит с каким-то проходимцем?... «Ни невесты, ни... любовницы?» – хотела она сказать, и только осеклась.

– Довольно бредить! Ложись спать! – грубо прикрикнула она.

Соня съежилась по привычке от этого тона и покорно легла с открытыми глазами, среди мгновенно наступившей тишины.

В сердце Катерины Федоровны клокотала буря.

Прошло полчаса, час... Сестры не спали.

– Софья! – вдруг сурово проговорила старшая, подымая голову с подушки. – Ты меня знаешь? Я не люблю попусту слова на ветер бросать... Помни и заруби себе на носу: если я замечу, что ты шушукаешься с этим наглецом Черновым... Видеть не могу его морду нахальную!.. – вдруг с взрывом ненависти сорвалось у нее. – И если, вообще, замечу за тобой что... помни! Ни ногой в клуб! И запрю тебя на замок... Слышала?

Соня молчала. Слезы жгли её глаза... Так вот как встретила сестра её великодушный порыв пожертвовать собою!.. Ей хотелось умереть...

Под утро Катерина Федоровна спала тревожным сном, раскинув полные смуглые руки. А Соня всё плакала тихонько. Ей было жаль себя...

XIV

На другой день Катерина Федоровна поднялась темнее ночи. Она не сказала ещё ни одного слова, а уж весь дом замер, глядя на её сдвинутые брови.

– Что это с нею? – шепотом спросила Минна Ивановна младшую дочь... Она не решилась повысить голоса, даже когда сторбившаяся фигура Катерины Федоровны, ушедшей на уроки, мелькнула на улице, под окнами. Соня промолчала.

До самого вечера Катерина Федоровна не могла забыть кошмарного впечатления этой ночи. Даже сцена у рояля побледнела. «Дура я буду, если поддамся этим бредням опять!»

– Что же ты не одета? – крикнула она сестре, возвратившись вечером. – Ведь ты сама знаешь, сейчас репетиция?

– Я не играю, – тихо ответила Соня. – И я не поеду...

– Что-о?

– Нет, не поеду... У меня голова болит... Мне не хочется...

Губы Сони прыгали от слез.

– Это что ещё за новости? – Вспомнив о матери, Катерина Федоровна боязливо оглянулась на запертую дверь. Потом больно схватила Соню за кисть. – Да ты в уме или нет? – зашипела она, задышавшись от гнева и глотая слова. – Да ты что?.. Ты поклялась меня изводить своими сценами?

– Какими сценами?

– Дрянь! Дрянь девчонка!.. Я для неё стараюсь, по ее просьбе впуталась в эту компанию дурацкую... Ты думаешь... мне... самой надо, что ли, вечера бросать на эти глупости? Сладко?

«Конечно, сладко»... – ясно прочла она немой ответ в упорном лице Сони. У Катерины Федоровны руки опустились. С мгновение она молчала, тяжело дыша.

– Одевайся! – глухо молвила она. Соня не двинулась.

– Слышишь ты, что я тебе говорю? – Катерина Федоровна топнула ногой. Соня подняла глаза, полные слез и отчаяния.

– Убей меня, если тебе хочется, но я не поеду! – прошептала она. И губы у неё были белые и пересохшие.

Катерине Федоровне вдруг стало страшно. Соня выскользнула из её рук. Она бессильна уже перед этой девчонкой. Это ясно. В этой натуре – гибкость ума, не поддающаяся, в сущности, никакой дисциплине... «А далыпе-то как же?» – ожгла её мысль. Она схватилась за виски.

– В какое положение поставила меня перед людьми! Я себя связала словом, а она... Скажите пожалуйста, какие сцены придумала!.. Комедиантка! С какими глазами я войду туда без тебя? Подумаешь, молоденькая... Забаву себе выдумала... ещё скажут, я тебя заперла...

– Меня никто не замечал. И сейчас ничего не заметят!

Истина блеснула перед Катериной Федоровной.

– Как же? – злобно засмеялась она. – Все в голос заплачут... Цаца какая! Принцесса!.. Обидеться изволили?.. И откуда эта дурь в тебе? Разбаловали тебя в институте... – Она с сердцем швырнула на пол подвернувшуюся ей по дороге картонку. – Ну и сиди, коли нравится! Я не заплачу... – Она вышла, хлопнув дверью.

Через секунду она приотворила её и бросила шепотом:

– Но если только ты мать расстроишь ревом своим, помни!.. Со света тебя сживу!

В клуб она приехала совсем расстроенная. Из-под черных бровей её глаза «метали молнии».

– А где же Софья Федоровна? – осведомился Чернов.

Она поглядела на него так, что он попятился.

– А вам какая печаль? – И пошла дальше.

– Как вы поздно!.. Так нельзя! – бесцеремонно и с горячим упреком кинул ей в лицо Тобольцев.

Она угрюмо покосилась на него.

– А вы думаете, у меня, кроме ваших репетиций, никаких больше дел нет?

Тобольцев так и замер, глядя ей вслед, пока она сурово и неловко здоровалась со всеми. «Красота какая! Силища!.. Теперь я знаю, что она сыграет...» – в восторге думал он.

– Вот так медведица! – шепнул ему Чернов. – Я было сунулся спросить насчет Соньки... Как она меня ошарашит! Вот так девица!.. Она, пожалуй, прибила сестренку-то!.. Мед-ве-ди-ца!.. – несколько раз подряд повторил он, как бы удивляясь этому слову.

На репетиции Тобольцев начал было делать Катерине Федоровне замечания, впрочем, очень мягко...

– Вы меня лучше оставьте, – сказала она ему. – Укажите только места для паузы... Сыграю, как умею и как поняла. А теперь ни одной ноты верной не возьму, так и знайте! Я на этих репетициях ваших сквозь землю провалиться рада!..

Тобольцев промолчал. Он чувствовал, что она роль поняла... Но такой ответ режиссеру смутил всех. Начали шептаться. Многие усмехались. Соня угадала. её отсутствия никто, кроме Чернова, не заметил. Все были полны только собой.

Зато перемена в самом Тобольцеве была так резка, что нельзя было её проглядеть. Он был не в духе, рассеян и нехотя отвечал на вопросы и не отходил от Катерины Федоровны. «Сыграет... Это талант!» – думал он.

Но спектакль превзошел даже его ожидания. Катерина Федоровна была так самобытно хороша в роли Варвары; она давала такую массу тонкостей и неожиданных деталей; вся она с её сильными, упругими движениями, с её насупленными бровями, из-под которых сверкала огневая взгляд, создала такой мощный, цельный образ непокорной, властной натуры, истой дочери Кабанихи, что лучше сыграть было невозможно!.. Успех она имела огромный, особенно в сценах с Кудряшом. Казалось, вся она трепетала яркой, чувственной, еле сдерживаемой жаждою жизни. Нельзя было глядеть равнодушно в это характерное лицо... В знаменитой сцене «в овраге» они с Тобольцевым так целовались, так безумно глядели друг другу в глаза, что все сердца забились невольно. Чудилось, что это уже не искусство. Это сама жизнь... Соня сидела в партере, низко опустив голову, как подкошенный стебелек. Лиза была бледна.

«Я без ума влюблен!» – сознался себе Тобольцев, когда, охватив плечи Варвары затрепетавшей невольно рукой, он двинулся с нею за кулисы.

Буря аплодисментов покрыла их уход, но они ничего не слышали. Катерина Федоровна почувствовала жар его объятия... И опять её охватило чувство бессилия перед Тобольцевым, это жуткое сознание, что все так просто и так возможно!

За кулисами они были... кажется... одни. Его рука не выпускала её плеч. Катерина Федоровна дрожала вся, с головы до ног, но отстранить его не имела силы...

«Ведь мы там сейчас целовались?.. Нужно это, что ли, так? Как же это?» – бессвязно бежало в её отуманенной голове.

Он наклонился над нею. Глаза у него были как у сумасшедшего.

– Пустите! – слабо прошептала она.

Он наклонился ещё ниже. Его дыхание жгло её лицо. Она хотела вырваться, но... взглянула в его зрачки, бессознательно поднялась на цыпочки. И, как в тумане, первая подставила ему заолодевшие губы... Этот вечер решил все.

Что было потом, когда кончился спектакль, ни он, ни она не могли припомнить впоследствии. Они были так полны друг другом, что вся дальнейшая ночь прошла для них как сон. Они не замечали двусмысленных улыбок мужчин и завистливых взглядов женщин. Они ушли в полутемную ложу и просидели там плечо к плечу, рука в руку, пьяные от желания.

– Попалась наша монашенка-то, – говорил «резонер». – Теперь не отвертится... Шабаш! Но были и такие, что глядели глубже.

– Как бы Тобольцеву не влопаться! Девка-то с коготком. В обиду себя не даст...

– Ей бы Кабаниху играть... В самую пору! – зубоскалил Чернов, очень довольный будущим посрамлением «Катки». – Ах, молодец этот Андрюшка! Такую медведицу приручить!.. Вот будет комедия, когда он ей карету подаст!.. Кабаниха... Гм... Ка-ба-ни-ха... – отдельно повторил он несколько раз, как будто учился читать.

Мимо ложи мелькнула, как призрак, Соня, вся в белом. Она была так трогательно прекрасна, что женолюбивый Чернов чуть не заплакал от жалости: «Надо утешить бедное дитя».

Он подошел к Соне. Она стояла у окна, в коридоре, глядя в темную ночь. Слезы застилали ей глаза. Чернов подошел и рывком сел на подоконник.

– Ка-ба-ни-ха... – вдруг промолвил он застрявшее в ленивом мозгу словечко.

Она вздрогнула и с недоумением оглянулась. Тогда и он очнулся словно и молча уставился на неё нагими глазами.

– Ей-Богу, она на Кабаниху похожа, ваша сестра, – сказал он, точно продолжал разговор. Это дало ему возможность ещё раз три повторить отдельно и с недоверием словно: – Кабаниха... Гм... Д-да... Ка-ба-ни-ха...

Как ни тяжело было Соне, но смешная сторона в Чернове и на этот раз не ускользнула от нее. Ах, если б здесь был кто-нибудь хоть вполтину такой интересный, как Тобольцев! Какая обида, что под рукою только Чернов!

Она вдруг толкнула дверь соседней ложи и вошла. На пороге она оглянулась, глазами приглашая Чернова. Он кинул беглый взгляд в зал, где мелькало красное платье Засецкой.

Она выказывает ему высокомерное равнодушие, эта «содержанка»... Все равно!.. Он знал, что из ревности женщина способна на многое, и не хотел пропускать момента малодушия у Засецкой... Но... Чуждые девичьи глаза глядели на него из ложи с ожиданием. Он вошел, слегка взволнованный.

– Затворите дверь! – сказала Соня.

Чернов сощурился. Их ложа была крайняя. А на другом конце, тоже в крайней ложе, притаились Тобольцев и его дама.

– Какая вы шалунья! – прошептал Чернов, ловя ручку Сони.

Она села. Ему был виден её точеный профиль, а там, дальше, в смутном полусвете – черный силуэт Тобольцева. Он говорил что-то шепотом своей даме, наклоняясь близко к её лицу и коленям головой и всем торсом... Вдруг оттуда прозвучал счастливый женский смех.

Веки Сони дрогнули. Она сжала руку Чернова.

– Вы меня любите? – бессознательно прошептала она.

– Вы пре-эстны, – прошептал озадаченный *jeune premier*, и рука его обвила талию девушки. Соня не дрогнула, не шевельнулась, словно загипнотизированная. Лицо её все также было повернуто в профиль к нему и к той ложе. Можно было поручиться, что она не замечает его объятия и прислушивается к звукам оттуда напряженно, всеми нервами.

– Нет! Нет... Не могу! – вдруг явственно донесся отчаянный, трепетный голос Катерины Федоровны.

Короткий истерический хохот сорвался у Сони.

– Будьте осторожны!.. Они там-м... – прошептал Чернов.

– Я не могу, – с помертвевшим лицом, сквозь смех, молвила Соня. – Понимаете?.. Не могу!

Он по-своему понял это волнение.

– О, как вы прелестны! – повторил он, на этот раз с увлечением прижимая её к себе.

Вдруг напряженный слух Сони уловил звук поцелуя там... Она вся так и дернулась... Чернов опять по-своему понял этот трепет. Он кинул воровской взгляд в ложу. Ему показалось, что голова Тобольцева близко приникла к темному силуэту женщины. Они, кажется, целуются?

– Ого! – вслух произнес он... Момент настал... Но, прежде чем он нагнулся к щеке Сони, она сама обернулась к нему, глядя на него истеричным взглядом мерцающих, почти черных от расплывшегося зрачка, глаз.

– Поцелуйте меня! – сказала она с отчаянием.

Через мгновение она вырвалась. «Не то!.. Не то!..»

Какая гадость! Ну что же делать, чтоб забыть? Чтоб не было так больно?..» А Чернов немного поглупел и дышал тяжело и прерывисто, глядя на неё помутившимися, выпуклыми глазами.

«Какой темперамент!.. – думал он. – Огонь, огонь!..»

– Вы меня любите? – сказал он на этот раз уверенно театральными интонациями. Он уже разучился говорить просто.

Она поправляла прическу. Вдруг она встала.

– Вы меня любите, – повторил Чернов. Она зло и громко рассмеялась. – Осторожнее... ди-тя мое! – Он сдвинул её пальцы.

Но она засмеялась ещё громче. Она видела, как быстро отделились друг от друга эти два приникшие силуэта... Ах, ей только это и надо!

Она хлопнула дверью и вышла из ложи, белая, как её платье, оставив Чернова, съежившегося в уголку. Проходя мимо ложи сестры, она крикнула:

– Идите же, Чернов! Я жду...

В ложе было тихо, как в могиле...

Она их спугнула... Как хорошо!

Возвращаясь домой, обе сестры молчали. Катерина Федоровна была опять-таки слишком полна собой, чтоб делать какие-либо выводы из поведения Сони... «Опять с Черновым?.. Ну да ведь на то и бал...» И ей было почему-то жаль сестру.

А Чернов говорил Тобольцеву: «А Сонька-то какова?! Призналась мне... Сама, братец, сама.» Завела в ложу. „Поцелуйте, говорит, меня!“ Каков-ва! Темперамент-то какой!.. Огонь, братец... огонь!..» И всю дорогу домой он твердил, как бы вникая в смысл загадочного изречения: «Тем-пе-ра-мент... да-да... темперамент... гм... Тем-пе-ра-мент...»

«Придет она или не придет, если позвать? – думал Тобольцев, распахивая на морозе шубу и подставляя ветру пылавшее лицо. Хочу видеть её наедине!» До безумия хочу целовать ее... Я, кажется, на низость способен теперь... лишь бы добиться свидания! Боже мой... Господи!.. Со мною никогда этого не было... Прямо голову теряю...»

XV

Два дня спустя после этого спектакля Чернов лежал, по обыкновению, на кушетке Тобольцева, в его халате и туфлях, куря его папиросы, после сытного обеда, за которым, однако, хозяина не было. Зато отобедали два студента, недавно приехавшие из Сибири, да ещё приезжий из Перми мрачный блондин, огромного роста, всклокоченный, без бороды и в синих очках, совершенно прятывших его глаза.

Он свалил в передней свой чемодан, чем-то туго набитый. На подозрительный вопрос нянюшки, не может ли он дать ей паспорт: «Коли ночевать будете... Потому теперь в Москве строго...» – гость ответил, что ночевать он, пожалуй, не будет... А лучше завтра к обеду. Вещи же оставит тут...

Чернов выслушал все эти объяснения, стоя в халате на пороге столовой, с сигарой в зубах, с видом хозяина на помятом и наглom лице. «Н-ну, субъектец! – думал он. – С таким ночью в узком переулке встретиться... Ах, уж и идиотина этот Андрюшка! Всякую сволочь готов принять...»

Но тут случилось нечто неожиданное. Гость подошел к Чернову, отодвинул его с порога и запер под его носом дверь в переднюю, так что там остались только он да нянюшка.

«Как соба-чо-нку стряхнул! Ка-ко-ввво!...» – думал Чернов, потерявший на мгновение даже способность протестовать.

– Неужто не узнаете, нянечка? – зашептал гость, наклоняя над изумленной старушкой свое лицо. Она молча глядела вверх.

Чернов за дверью припал ухом к скважине замка. Он и не пробовал отпереть дверь. Он догадывался, что незнакомец придерживает, её своей могучей дланью.

– Потапов, нянечка...

Старушка всплеснула руками...

– По-та...

– Тсс!..

Старушка присела и обеими руками зажала себе рот.

– Откуда тебя Бог принес?.. Не чаяла и видеть тебя... Сколько горя у Андрюшеньки-то было, как тебя тогда взяли-то... Ах, батюшки! Где ж ты ночевать, горемычный, будешь?

Усы гостя дрогнули.

– У «самой»...

– И то! Лучше не придумать... И тут приютили бы тебя. Да вишь этой осенью один тут тоже погостил... Кто его знает, откуда? А там нагрязнула полиция, и на две недели Андрюшеньку забрали... Ты смотри, «самой» не проговаривайся!

– Вот что! – Потапов задумался. Няня качала головой.

– Не узнать тебя без бороды, Степан Федорыч...

– Это хорошо, нянечка... Только вы «самой» не проговоритесь, что я тут вещи оставил... К чему её беспокоить?

За обедом Чернов бесцеремонно выпрашивал Потапова. Но тот глядел исподлобья, с угрюмым презрением, как глядит огромный дворовый пес на комнатную собачку.

«Вот нахал-л! – волновался Чернов. – Уди-витель-ный нахал! И хотя бы извинился за свою дерзость...»

Неожиданный гость ел и пил, впрочем, весьма свободно. А Чернов усиленно угощал других двух студентов, нарочно подчеркивая эту роль хозяина.

– Неужто Андрей всё ещё актерствует? Не надоело ему? – брезгливо осведомился Потапов, потягивая вино.

Чернов вздернул плечи.

– То есть... как это может надоест, если это призвание человека? – спросил он напыщенно.

Потапов поглядел на него. И внезапно засмеялся.

Чернов вспыхнул. Оба студента невольно расхохотались. Потапов начинал им нравиться. А посрамлению Чернова они были искренно рады.

– Господ-да!.. Не угодно ли ликеру?.. А вам-м?

– И без вас выпью, коли понадобится, – так и отрезал Потапов. Вышла неловкая пауза.

– Жениться, стало быть, он ещё не собирается? – как-то раздумчиво, ни к кому не обращаясь, промолвил Потапов. – Ну что ж? Пока и на этом спасибо!

Чернов демонстративно молчал.

После обеда все разошлись, выпив все вино и оставив хозяину одни объедки. В передней Потапов, опять-таки плотно притворив за собой дверь, шептался с нянюшкой. Она сама выпустила его. И долго ещё после его ухода глаза её светились.

– Кто это был? – спросил её Чернов, ковыряя в зубах.

– А тебе зачем? – отрезала нянюшка. – Был, да весь вышел.

– Его зовут Степан Понятов! – нахально кинул Чернов.

Руки старушки дрогнули и замерли на столе, где она прибирала посуду. Она поглядела на Чернова и молча ушла на кухню.

А Чернов пошел в переднюю. Он почуял «тайну», и сердце его взыграло.

– Эт-то что такое? – Он ухватился за чемодан пермяка. – Так и есть!.. Набит чем-то грузным... Уж и пропадет Андрюшка когда-нибудь с этим народом! – вздохнул он и завалился на боковую, тягуче выговаривая, словно смакуя: – На-хал-л... Вот нахал-л!.. Уди-ви-тель-ный нахал!..

Вдруг нетерпеливо затрещал звонок, раз, другой... третий... Кухарка опрометью кинулась отворять.

Тобольцев вошел в неопишемом волнении. Увидав Чернова в халате, на тахте окурки папирос, недопитую рюмку ликеру на столике, он проявил внезапно сильное раздражение.

– Опять ты валяешься? Сколько раз просил не сорить!? Это хлев какой-то... Авдотья! Нянечка!.. Тряпку! Щетку!.. Скорей!

– А как насчет обеда?

– Не буду я обедать...

«Назююкался, видно, в трактире», – сообразил обиженный и растревоженный Чернов.

– Фортки растворите! Все закурено, заплевано... Мерзость!

Он метался по комнате, ероша волосы, злой, как никогда.

Чернов перепахнул полы халата и сел на «Лизиной» тахте, допивая ликер. Он не привык к такому крику и тону.

Увидав чемодан в углу, Тобольцев пришел в ужас и успокоился только, когда кухарка заявила, что гость ночевать не будет.

– Ну, да ладно! Ступайте, пожалуйста!

– Кто это ещё, нянечка? – хмуро, но мягко спросил он старушку, смахивавшую пыль с письменного стола. – Кого там нелегкая принесла?

– Кто ж его знает?.. Из Перми, слышать, – равнодушно сообщила старушка, не оборачиваясь. – Ночевать его я не оставила.

– Из Перми?.. Чернов, ты не знаешь фамилию? – тоном ниже спросил Тобольцев. Его охватило странное предчувствие.

– По-ня-тов... По-пя-тов, – точно читая по слогам, небрежно припомнил Чернов.

– Неужели? – радостно крикнул Тобольцев и замер с расширенными глазами... «Ах, черт!.. Вот досада! Днем бы раньше... Какое счастье! И какое несчастье в то же время!»

В передней он остановился перед старым чемоданом. Он самый... «Прощай... прощай... прощай!.. И помни обо мне!..»

Сердце Тобольцева дрогнуло. Влажными глазами он глядел на пыльный чемодан.

– Нянечка! – позвал он. – Подите сюда!

И голос его дрожал.

Нянюшка, как молоденькая, кинулась на зов.

Кабинет был рядом с передней. Их разделяла дверь. Чернов, как уж, сполз с тахты, прокрался к двери и опять прильнул к ней ухом. Те двое долго и радостно шептались и смеялись. «Точно заговорщики», – решил Чернов.

– Так завтра, говоришь? Какое счастье!..

– Просила его обождать, тебя дожидаться... «Не могу, грит. Дела много, грит», – шептала нянюшка.

Раздались шаги Тобольцева. Чернов опять полулежал на тахте, раздумывая, какую выгоду ему извлечь из этой тайны, частью которой он уже владел.

Пробило восемь. Тобольцев встрепенулся. Горячая волна залила его сердце. Ему стало больно дышать... «Придет... Сейчас... Мимо же, мимо все, что не она... не это сумасшедшее счастье!»

Квартира приняла приличный вид. Пятном в ней выделялся только Чернов, по-прежнему демонстративно восседавший на тахте. С виноватой улыбкой подошел к нему Тобольцев.

– Ты меня извини, пожалуйста. Я жду гостей... У меня нынче ночевать нельзя...

– Женщину ждешь?! – нахально воскликнул Чернов. «Катку?» – крикнуло в его душе, и он чуть не рассмеялся в лицо приятелю. Брови Тобольцева дрогнули.

– У меня ночевать нельзя, – уже сурово повторил он.

– Эт-то мило! Так где ж мне прикажешь ночевать? Этакое свинство! Выгонять человека на улицу... Эт-то называется др-ружкой!

– Пожалуйста, не сердись!.. Вот десять рублей! Устройся где-нибудь в гостинице...

Чернов сунул деньги в карман и пошел одеваться.

Уже в передней, через целых томительных полчаса, пока Тобольцев бегал, хватая себя за волосы и глядя на часы, – Чернов в пальто и цилиндре, помаргивая выпуклыми черными глазами, сказал фамильярным тоном:

– Послушай, Андрюшка!.. Разреши мне остаться хоть на кухне. Ей-Богу же, я вам не помешаю... Не всю же ночь, черт возьми... вы будете нежничать...

– Уйдешь ты или нет?! – бешено крикнул Тобольцев.

Ноги Чернова дрыгнули. Он не бежал, а скатился с лестницы.

– Скотина! – крикнул он внизу. Дверь была уже заперта.

Он пошел было по переулку, но передумал. Засецкая или Катка? Шансы равны... Если Засецкая... Черт возьми! Скверная это будет штука... А если «Ка-бани-ха»?..

Он рассмеялся жидким смехом и побрел, надев цилиндр набекрень, заглядывая, по привычке, в лицо всем женщинам.

Ждать ему пришлось недолго. В переулке проползли сани. В них сидела женщина, закутанная, но без вуальки. Даже издали, по сутулым плечам, Чернов признал Катерину Федоровну. «И даже лица не закрыла... Вот святая простота!..»

Одну секунду его подмывало желание подскочить и раскланяться. Но он вспомнил бешеное лицо Тобольцева. Это могло ему дорого стоить. Ведь всё это пахло не простой интрижкой, а настоящим увлечением...

Катерина Федоровна вышла из саней и пошла, низко опустив голову, вся как бы раздавленная незримой тяжестью, медленно, как лунатик. Она шла навстречу судьбе.

Чернова поразило что-то трагически-наивное и трогательное в жестах ее, в походке... Ей встретился кто-то, и этот «кто-то», посвистывая, внимательно поглядел в её открытое бледное лицо. Она подняла голову, даже не отвернувшись.

«Только чистые сердцем могут так идти на свидание», – вдруг понял Чернов. И все лучшее, что спало в его душе, как бы открыло очи и шепнуло ему: «Отойди!»

Катерина Федоровна прочла номер дома у ворот и поднялась на крыльцо подъезда. Чернов невольно снял шляпу.

Парадная дверь проглотила, захлопнувшись, фигуру девушки.

Чернов провел рукою по редевшим кудрям, надел цилиндр и, засунув руки в карманы, задумчиво побрел Бог весть куда... «Это любовь», – думал он, и ему стало грустно. Вспомнилась Соня... Ему стало ещё грустнее. «Любовь всухую? Ни черта из этого не выйдет!..» Жениться?.. Он повел плечами, вспомнив недавнюю нищету... Да, наконец, для этого он слиш-

ком мало думал о Соне. Это куда ни шло... Но лишение свободы, обязанности? «Эх, кабы она была тут сейчас!» – без всякой логики почувствовал он жгуче и болезненно. Как хотелось счастья и непродажной ласки!

А Тобольцевым в последние десять минут овладело отчаяние. Что за безумие было вообразить, что она придет по первому зову? Вчера на репетиции она сидела, низко опустив голову, такая бледная... И потом уже не глядела на него, отворачивалась от его безумных, молящих глаз. И немые губы её дрожали... Она не ответила ни «да», ни «нет»... «Может быть, себя не понимала? – вдруг догадался Тобольцев. – Может быть, испугалась силы собственного желания?» Торжествующая радость забила в его сердце... Он старался вспомнить, что говорил ей... Обещал ли что-нибудь?.. Нет! Нет!.. Даже ей он не хочет, не может пожертвовать свободой... Но когда он расстался с нею вчера, у её дома, стиснув в последний раз её захолодевшие руки и прошептав: «Катя, я вас жду»... А она, вся поникшая, безмолвная и бессильная, вошла в свою квартиру, – им овладела сумасшедшая радость и яркая уверенность... Теперь он стоял у двери, прислонясь плечом, и слушал все звуки на лестнице. «И почему я вообразил, что она придет? Не идиот ли я, в сущности?» Его била лихорадка.

Вот еле-еле зазвучали робкие шаги. Но он их услышал. Ему почудилось даже, что он слышит её прерывистое дыхание за дверью. Она колеблется: звонить или уйти? Но это невозможно – уйти сейчас! Как невозможно сорвавшемуся камню не долететь до бездны...

Он распахнул дверь. Никогда не забудет он её взгляда.

– Катя! – глухо крикнул он и обхватив её руками, приник к её лицу. Оба они дрожали и молча, с спазмами в горле, с глазами, полными слез, страстно обнимались в передней, не имея сил сделать ни шагу.

– Мы одни? – скорее вздохнула, чем прошептала она.

– Конечно, – сорвалось у него разбитым от счастья звуком. – Раздевайся!.. Нет... пойдем сюда!.. Я тебя здесь раздену...

Он ввел её в кабинет. всё время он говорил шепотом. Он сам не заметил, как внезапно перешел на «ты». Но иначе быть не могло. В эти короткие мгновения в передней он почувствовал, что она близка и дорога ему, словно он знал её годы и ждал её давно.

Странная эволюция совершалась в его душе. ещё вчера и весь этот день, влюбленный до безумия впервые, со всей жестокостью проснувшейся ненасытной чувственности, он говорил себе: «Я буду идиот, если не воспользуюсь этим моментом. Нынче она как слепая... Завтра она отрезвится. И все пропало... Придется жениться, чтобы добиться своего. Поэтому к черту совесть!» Такое мгновение не повторится...

Но когда он встретил её взгляд, этот непередаваемый взгляд мольбы и доверия; когда её черная головка легла на его грудь, покорная и беззащитная перед его страстью, – хищные инстинкты замерли, подавленные новым, совсем новым чувством, волной влившимся в его сердце, подступившим к горлу, наполнившим сладкими слезами глаза... Это был экстаз истинной любви. Все расчеты смолкли... Он поклялся себе, что она уйдет без слез и сожалений; что он проведет с нею незабвенную ночь; что завтра опять она придет и они будут сидеть, обнявшись, молча, счастливые одной своей близостью... И в эти минуты он был искренен.

– Милая, милая, – твердил он, не находя других слов. Он стал на колени перед нею. Она бессильно положила ему руки на плечи. И взоры их сливались и тонули друг в друге, обещая все без слов...

Потом... настали другие минуты. Они были неизбежны, как судьба. Они принесли другие взгляды, другие жесты, ласки... другие слова и чувства... Разбудили стихийные силы и непреодолимые желания, как молнии ослепившие их очи...

И, оба слепые и пьяные от страсти, оба безвольные и в то же время жестоко упрямые по дороге к цели, – они отдались друг другу... В каком-то блаженном забвении, без колебаний и расчетов, без клятв и заглядываний в будущее... Она сама кинулась ему на шею при первой его

ласке... И если б он даже хотел, он не мог бы разнять и оторвать её руки, судорожно сцепившиеся вокруг его головы; не смог бы оттолкнуть от себя это безумное прильнувшее сильное тело, в каждой фибре которого трепетала жгучая жажда счастья. И если б крыша дома обрушилась в этот час над их головою, они не заметили бы своей гибели и не искали бы спасения... Есть минуты, в которые чувствуется бессознательно, но ярко, что вся дальнейшая жизнь—будет бледнее этих мгновений и что они не повторится...

Они очнулись...

Дохлая зимняя ночь мелькнула незаметно. Но теперь наступило отрезвление, и душа Катерины Федоровны дрогнула. Она вскочила, дрожа от внутреннего холода. её лицо было серо. Зубы стучали, и она с трудом спросила, который час.

— Боже мой! — простонала она и стиснула прыгавшее губы.

Она не хотела ни жаловаться, ни упрекать, ни жалеть... О чем, Боже мой?! Разве не ясно было для неё с первого мгновения ещё вчера, что все будет именно так, как случилось? Что иначе и быть не могло? И разве за счастье такой ночи она не была готова на позор, если это нужно?... Но... мужественная душа— её задрожала при мысли, что сейчас она, такая гордая и смелая всю жизнь, робко позвонит у своего подъезда и опустит глаза перед изумленным взглядом прислуги... И хорошо ещё, если не Сони!.. Неужели та не спит? И ждет? «А мама?...» Она невольно застонала и спрятала лицо в руках.

Позор, презрение всего света, лишения, трагическая смерть даже... всё казалось легкой жертвой за счастье!! Но вот эти мелочи, все эти простые и неизбежные вещи...

Тобольцев, холодея внутренне, следил при потухающей лампе за её мимикой, за всеми этими движениями, полными немой отчаяния. Он как бы читал в её душе.

— Катя, голубушка, что с тобой? — спросил он робко.

Насытившаяся чувственность распахнула в его душе двери для более утонченных ощущений. И глубокая нежность зажглась теперь в его сердце. Ему было нестерпимо жаль ее...

Он положил руку на её обнаженное плечо.

Она вздрогнула, как от ожога. Как-то разом бегло, но остро взглянула на себя и на Тобольцева. Он показался ей чужим, более чужим, чем когда-либо в этой интимной обстановке... Нестерпимый стыд залил её лицо. Она перебежала комнату и потушила лампу.

Он, сидя на постели и обхватив руками свои мускулистые, волосатые ноги, слышал, как она дышала прерывисто и шумно, как дышат перед истерикой. Он замер.

Инстинкт подсказывал ему, что эти первые минуты, когда угар кончился, всегда бывают роковыми в связи, если мужчина дорожит женщиной. Надо быть осторожным, надо взвешивать каждое слово, каждый жест... Гордая женщина не прощает ни одной небрежности, и, как бы неопытна ни была она, ею руководит безошибочный инстинкт. Она разбирается прекрасно в этом мраке, окутывающем наши души в момент реакции, после аффекта. И уметь отличить любовь от простого желания, насыщенного и угасшего... И горе тому, кто, понадеясь на собственный опыт, на прежние связи, забудется в эти первые и решающие мгновения!

Затаив дыхание, он слушал, как она лихорадочно быстро и неловко одевалась, страдающая, униженная, почти враждебная, боясь его молчания и ещё более боясь его первых слов...

— Не торопись, Катя, — вдруг заговорил он, стараясь быть спокойным, хотя голос его срывался. — Я сейчас оденусь, сварю тебе кофе, потом довезу тебя домой...

Она перестала двигаться, и он это слышал.

— Нам обоим необходимо выпить кофе. Мы так взволнованы оба... Это займет четверть часа, не более... Но без этого я тебя не пушу! Слышишь, милая?

Она прерывисто и глубоко вздохнула, раз-другой... Вдруг она всхлипнула и опустилась на кушетку. Безошибочный инстинкт толкнул его к ней.

— Катя... Родная! — затрепетавшим голосом крикнул он и, перебежав комнату, упал перед ней на колени.

О... Что это было за чудное мгновение!..

И снова её ослабевшие пальцы доверчиво обхватили его голову, а его сильные руки всю её фигуру. И лепет, бессвязный, восторженный, прерываемый поцелуями и слезами, срывался с их уст... И на этот раз бесконечно тонкие, бесконечно нежные чувства плели шелковую сеть над их головами. Сеть нерасторжимую, несмотря на всю её мягкость. И легкими казались им все жертвы в будущем, все обеты. И светлой казалась им вся дальнейшая жизнь, немыслимая друг без друга, без этих жгучих ласк... А ещё более, к их обоюдному удивлению, без этой дивной тишины души, без этой гармонии, сменившей их дикую страсть, этот хаос ощущений...

Вспоминая впоследствии эти первые жуткие минуты пробуждения, это чувство отчуждения, глухой стеной вдруг поднявшееся между ними, Катерина Федоровна говорила Тобольцеву, что, если б он не заговорил об этом «кофе» и она не услышала бы этой трогательной нежности в его голосе, «перевернувшей всю её душу», – она ушла бы с ненавистью и не вернулась бы никогда!

– Ужас какой!.. И от такого пустяка зависело все! Я чувствовал опасность... Я не знал, что говорить, что делать. Я боялся тебя в эту минуту. Ты так не похожа на... ни на кого не похожа! И какое счастье, что ты заплакала!.. Тогда я понял...

– А ты думаешь, я плакала от раскаяния? От счастья, только от счастья!.. Меня твой голос прямо пронзил всю. Я поняла, что была не капризом твоим... что ты меня «жалеешь»... Понимаешь? Не обидной жалостью, а самой высокой...

– Какую мы не знаем к тем женщинам, которых не любим. Да... Ты была права...

Ах, этот кофе среди ночи! Такой горячий, ароматный, так заботливо и ловко сваренный самим Тобольцевым в столовой, где он тщательно запер двери и зажег лампу... Никогда им не забыть этого упоительного рассвета! Как нервы разом напряглись! И не стыдно, совсем не стыдно было глядеть в глаза друг другу, как будто они были женаты несколько лет...

Когда там, на кушетке, она плакала, он, как бы угадывая её тайные страдания, сказал:

– Мне пришла в голову блестящая мысль! Я провожу тебя и подожду у подъезда. Если мама и Соня спят, я отложу до завтра визит. Если мама не заснула ты войдешь в её комнату и скажешь, что была у жениха. Да, Катя, да!.. И что я тут за дверью, и что я жду одного только слова ее, чтоб уехать спокойно...

У него это вышло так просто, точно иначе быть не могло!

И вот они оба встали из-за стола (никогда, до самой смерти, не забудет Катерина Федоровна всех подробностей этой волшебной ночи!)... Потушили лампу... Часы забили...

– Боже мой! – снова сорвалось у нее, но на этот раз она весело рассмеялась. Теперь все казалось легким...

Они на цыпочках вышли в переднюю. Вдруг на кухне запел петух. Они поглядели друг другу в глаза и засмеялись.

– Это он нас приветствует, – шепнул Тобольцев, гася спичку.

Когда он надевал ей в темноте теплые ботики и опять почувствовал в своих руках эти упругие, маленькие ноги, грубое, жестокое желание с такой силой охватило его, так стиснуло ему горло и ослепило его, что он чуть не задохнулся... Она не поняла его в своей наивности, и это его отрезвило. Но долго ещё на улице, в санях, он сжимал её до боли и требовал, чтобы завтра она пришла к нему, хотя б на час... Иначе он не ручается, что не наделает глупостей...

Наконец они подъехали. В окнах было темно. Она позвонила, но робко... Если мать спала, она могла испугаться.

Дверь отворилась мгновенно, как будто кто-то поджидал их звонок. В передней было темно, но, по застучавшему внезапно сердцу своему, Катерина Федоровна догадалась, что перед нею Соня и что Соня все поняла.

– Мама спит? – замирающим голосом спросила она сестру.

– Нет... Мы обе не спали, – резко ответила Соня.

Катерина Федоровна пошатнулась. Сонька смеет говорить с нею этим тоном!.. Кровь кинулась ей в лицо. Она приотворила парадную дверь и крикнула Тобольцеву, стоявшему на улице:

– Андрей, войди! Мама не спит... Подожди меня. Я сейчас...

Соня покачнулась и, прижав руки к сердцу, прислонилась к стене. Она видела, как высокая фигура в дохе мелькнула на фоне брезжущего рассвета и шагнула через порог.

Он вошел, не видя Сони, и затворил за собой дверь.

Катерина Федоровна, как лунатик, прошла через столовую на полоску света, выбивавшуюся из комнаты Минны Ивановны.

– Катя, – плачущим голосом крикнула мать. Она сидела в постели со взбитыми высоко подушками. Из рук её выпал роман Вернер¹¹⁷. В глазах был страх... Даже теперь, подготовленная к истине истерикой Сони, которая в три часа ночи ворвалась к матери, жаждая излить перед нею свою страстную скорбь, свою жгучую ревность, – обезумев от всего, что она угадывала в этом необычайном поведении гордой сестры, – даже теперь огорченная мать не осмелилась стать судьей своей Кати... Всю ночь она молила Соню дожидаться возвращения сестры, не будить прислугу, замять назревающий скандал...

А Катерина Федоровна, как во сне, подошла к постели, опустилась на колени на бархатный коврик. И просто, как-то бездумно сказала:

– Благословите меня, мама! Я – невеста Тобольцева...

– Катя!.. – Минна Ивановна затряслась от рыданий. Она не ждала такой счастливой и скорой развязки. Конечно, для девушки, которая на рассвете возвращается домой, эта развязка – счастье!.. Но Соня, несчастная Соня! её любимое дитя...

– Мама... Он ждет там... Что мне ему сказать? Ведь вы рады за меня? О чем же вы плачете? Скажите мне только: да!..

И, стяхнув с себя чары этой ночи при виде волнения матери, она страстно целовала её голову и руки. И плакала сама от радости и смеялась, как сумасшедшая...

А в передней было тихо. Приглядевшийся к тьме глаз Тобольцева различил контур какой-то фигуры в углу, и сердце его дрогнуло от мистического страха.

– Кто там? – хрипло спросил он... Ответа не было.

Тогда он подошел и протянул руки. Но не успел он понять, что это Соня, как она обняла его и прижалась к нему, судорожно и страстно, всем стройным, гибким телом.

Впоследствии, вспоминая эту странную минуту, он всегда вспоминал и ощущение, вызванное в нем этим объятием. Казалось, Соня не имела костей: так покорно и неотразимо прильнула она к нему всеми линиями тела, как бы сливаясь с ним в одно... Ему казалось потом, что это был кошмар...

Волна её душистых волос покрыла ему лицо, и ему почудилось, что воздуха не хватает. Он задрожал и зашатался...

Стукнула дверь где-то... Он дрогнул, глухо застонал и оторвал от себя худенькие ручки.

– О, убейте меня!.. Убейте!.. Все равно! Не могу жить без вас! – слышал он задыхающийся шепот.

– Андрей! Иди сюда... Мама хочет благословить....

Тобольцев не помнит, как он очутился у постели Минны Ивановны, как затворилась за ним, наконец, дверь этого дома...

«Какое несчастье!» – говорил он себе, едучи домой уже засветло. И всякий раз, когда он вспоминал шепот Сони и это дикое объятие, он весь вздрагивал от наслаждения.

¹¹⁷ Вернер Е. (наст. имя Елизавета Бюрстенбиндер) (1838–?) – немецкая писательница, автор популярных в конце XIX в. любовных романов.

Он не раскаивался... Убыло его, что ли, оттого, что он ответил на поцелуй обезумевшей девочки? И какое «свинство» (он так и сказал себе: «свинство») было бы в минуту такого аффекта с его стороны разыграть Иосифа Прекрасного и грубо оттолкнуть от себя это очаровательное дитя! Но ему было жаль этого красивого порыва, этого прекрасного чувства, этой энергии, погибших бесплодно... «О, убейте меня, убейте!..» Что-то трагическое чудилось ему в этих звуках. Ах, зачем именно его выбрала эти стихийная страсть? «Бедная девочка!..»

– Ах нет!.. – вслух говорил он, быстро раздеваясь. – всё это старая мораль». Совсем она не бедная, эта Соня! Счастлив тот, кто умеет так сильно чувствовать, так страдать, испытывать такие беззаветные порывы... Разве это не высшее благо в жизни? И она завоюет себе все, эта девочка! Не меня, конечно... Она полюбит другого. И, умирая, не пожалеет о жизни, из которой сумела все извлечь.»

Он упал, разбитый, в подушки. Вдруг локоть его коснулся какого-то холодного предмета. Это была женская гребеночка. Он засмеялся и любовно положил хрупкую вещицу на мраморную доску ночного столика. Потом закрыл глаза и зарылся лицом в подушки. Сквозь сигарный запах, пропитавший весь воздух этой комнаты, ему слышался аромат женского тела. «Лучший в мире запах... Какое наслаждение!..»

Заснул он мгновенно, с улыбкой на лице. Ему снилось, что рядом лежит женщина, прильнувшая к нему всеми линиями змеиного тела. Эта женщина была Катя. Но у неё лицо Сони, её алые губы, её ноги и грудь Дианы...

XVI

Тобольцев встал с головой тяжелой, как после угара. Долго он не мог прийти в себя и отдать себе ясный отчет в событиях этой кошмарной ночи. Факты были смутны, нереальны, как сны. А сны были ярки, как реальность.

Когда испуганная няня в одиннадцатом часу постучала в дверь спальни, Тобольцев так ясно ощущал близость Сони, что, открыв глаза, он все ещё чувствовал на своих губах вкус её поцелуя и не хотел очнуться... «Досада какая!» – вслух сказал он и опять закрыл было глаза, чтоб восстановить видение. Как это часто бывает во сне, ему казалось, что вся последующая жизнь не даст ему такого острого наслаждения.

Не получая ответа на свой стук, нянюшка решила войти.

Тогда он окончательно проснулся, сел и большими глазами поглядел на старушку.

– Который час?

– Да давно уже, соколик, все сроки проспал...

Она с удивлением оглядывалась на валявшуюся одежду, на разбросанные непривычно подушки... Вдруг её зоркий глаз заметил роговую гребеночку на ночном столе. Краска кинулась в лицо старушке. «Вот так новшества!.. Никогда этого не бывало, чтобы Андрюша на ночь сюда женщин водил...»

А Тобольцев разом вспомнил Катю, эту ночь, визит к Минне Ивановне. И все опять показалось ему диким, нереальным... Несомненно было только одно: Катя была здесь вчера и придет нынче... Тогда, несмотря на тяжесть в голове, Тобольцева охватила такая радость жизни, что он вскочил на ноги, кинулся на перепуганную старушку, схватил её за плечи и завертелся с нею по комнате.

– Пусти, озорник! Батюшки-светы!.. Аль не в своем уме?

– И то, нянечка, вчера ум потерял... Я женюсь, нянечка...

Старуха обомлела. Она молча глядела на брови своего любимца, потом широко перекрестилась и стала жевать губами.

– К маменьке когда поедешь за благословением?

– Ну, это ещё успеется... Не завтра женюсь. А вот невесту мою нынче вам покажу... Примите ее, нянечка, честь честью! Она у меня характерная, гордая... Ух! Король-девка, одно слово!

Старушка кинула боковой взгляд на гребеночку, покрутила губами, покачала головой и вышла на кухню... Тысячи вопросов горели на её устах. Но она была тонкий политик и не находила возможным критиковать вслух поведение «невесты». «Чудно чтой-то», – думала она, и руки её тряслись от волнения, пока она несла кофейник и расставляла посуду.

Тобольцев долго умывался и обливал ледяной водой голову. Чары сна все ещё держали его в своей власти. «Черт знает чепуха какая!.. Точно в обоих влюбился!..»

В банке он пробыл до часу, возбуждая общее удивление потому, что был в смокинге. Потом прошел в правление, где все директора знали его в лицо.

– Куда это? Уж не на раут ли?

– Хуже! – рассмеялся Тобольцев. – Предложение делать...

– Вы шутите? – Все встали с мест и окружили его. Тобольцев всегда казался типом человека, который соблазняет чужих жен, но своей не заводит за ненадобностью.

– Увы, нет! Мне не до шуток.

– Ах, чудак! Да вы бы до воскресенья отложили...

С неподражаемым юмором Тобольцев развел руками.

– Невозможно! Бывают, знаете, положения, когда медлить нельзя. Честь имею кланяться! – Он вышел среди общего смеха.

Тобольцев рассчитывал поспеть к завтраку и встретиться с Катей. Он был влюблен сильнее, чем вчера. Но Кати дома не оказалось. Она своим обязанностям не изменила. Встав в обычное время, ушла на уроки, позавтракала и опять скрылась из дома до пяти. Тобольцев был так огорчен неудачей, что даже не сумел этого скрыть.

Кухарка, ослепленная видом лихача и бобровым воротником барина, сняла цепочку с замка и держала дверь настежь. Но вход в переднюю загородила, словно приросла к месту.

– И вы не знаете, где у барышни урок перед обедом?

– Не можем знать... Оне не сказывают, куда идут. Может, барышня знает?

– А она дома?... Ах да! И Минна Ивановна дома?

Кухарка усмехнулась.

– Будешь дома, коли Бог ноги отнял...

– Передайте ей мою карточку. Попросите принять!

Кухарка захлопнула дверь под носом Тобольцева.

Так учила её Катерина Федоровна, опасавшаяся жуликов.

Минна Ивановна, любопытная как все безногие, уже глядела на дверь, поджидая кухарку. Соня лежала на её постели в блузе, опухшая от слез. Она по уходе сестры, от которой заперлась на все утро, пришла к матери, рыдала у её ног и незаметно заснула на её постели каким-то каменным, больным сном.

– Там барин какой-то вас спрашивают, – таинственно зашептала с порога кухарка, протягивая карточку.

Старушка прочла фамилию, покраснела и испуганно поглядела на неподвижную Соню. Потом сделала прислуге знак, чтоб она помогла ей выкатить кресло в столовую. Обыкновенно она справлялась сама. Год назад Катерина Федоровна ко дню ангела подарила ей это дорогое кресло. Но теперь у неё дрожали руки, и она боялась застучать.

Не успел Тобольцев войти и приложиться к ручке будущей тещи, как слезы хлынули из глаз Минны Ивановны.

«Mein Gott! Auffallend schon!»¹¹⁸ – подумала она, как всегда, по-немецки. В ней до сих пор жила женщина, умевшая ценить обаяние Тобольцева. И плакала она не только от радости, что перед нею жених Кати (которая ему не пара, о нет!)... а больше от огорчения за Соню, потому что эти оба (она это чувствовала) были созданы друг для друга.

Тобольцев оглянулся, взял стул и сел подле. Не отрывая лица, она замахала свободной рукой:

– Мой платок... там... в рабочей корзине, – расслышал он. И пошел в спальню.

На пороге он вздрогнул всем телом... Он увидел спавшую Соню. И все, что он пережил за эту ночь во сне и наяву, всё это вновь ударило по его нервам.

Соня мгновенно проснулась, как только глаза Тобольцева остановились на ней. Трудно сказать, дремал ли ещё её мозг, потому что она не удивилась присутствию Тобольцева, словно инстинктивно ждала его всё время? Считала ли она эту реальность продолжением её горячечных ночных грез? (Всю ночь она чувствовала себя в объятиях Тобольцева и его горячие губы на своих губах.) Повиновалась ли она только власти своих инстинктов и желаний? Кто скажет?.. Но вздох счастья приподнял её грудь. Глаза засияли навстречу Тобольцеву. Прелестная улыбка озарила лицо... Она села и протянула к нему руки с жестом беззаветной страсти:

– Сюда... Скорей!

Тобольцева сила какая-то толкнула к постели. Он обнял Соню и опять почувствовал (сон наяву!) прикосновение её груди, колен, всех точек её тела, её губы, запах волос и кожи, сонный запах из её рта, опьянивший его мгновенно... Он видел яркий блеск её полузакрытых глаз. «Какая красавица!» – понял он внезапно. И поцеловал её опять и опять, уже вполне сознательно и страстно.

Минна Ивановна кашлянула в столовой. Они оторвались друг от друга... Бледный, неверными шагами, Тобольцев отошел. Поглядел на рабочую корзинку, не видя ее; подергал себя за ворот... Опять поискал глазами по комнате, избегая глядеть на Соню... Наконец увидел корзинку и, захватив ее, вышел в зал. Но, выходя, он услышал тихий, серебряный, счастливый смех, отдавшийся во всех его нервах.

Он не помнил, что спрашивала его Минна Ивановна и что он ей отвечал... Подняв голову, он увидел, что Соня приотворила дверь и в щелку глядит на него... А глаза у неё сверкают и губы смеются... И он сам начал улыбаться. И, не договорив начатой фразы, вдруг встал, поцеловал руку Минны Ивановны, незаметно кивнул Соне, которая за спиной матери посылала ему воздушные поцелуи, и уехал, оставив обеих женщин под очарованием какой-то весенней грезы.

– Мама, мама! – лепетала Соня, кидаясь на шею матери. – Ну, не правда ли, что его нельзя не любить?

Минна Ивановна не желала вникать в причины внезапного успокоения Сони. Она только радовалась наступившей вдруг тишине после этой ужасной ночи, когда Соня грозила отравиться и умереть в тот день, когда Катя поедет венчаться. Все хорошо, что хорошо кончается!..

Катерина Федоровна весь этот день на уроках двигалась как во сне, бессознательно улыбалась удивленным ученицам, пропускала мимо ушей их вопросы, без обычного раздражения поправляла ошибки и беспрестанно задумывалась. От зорких институток, боявшихся строгой учительницы, не могла, конечно, ускользнуть эта необыкновенная перемена.

– Эрлиха наша совсем блаженная, – шептались пианистки. – Я разноса ждала за *rondo*¹¹⁹ Kalkbrenner'a¹²⁰. Не могла с «группетто»¹²¹ справиться... В тот раз она орала на меня, орала... кол поставила... А нынче я мажу, она хоть бы что!

¹¹⁸ Боже мой! Ослепительно красив! (нем.)

¹¹⁹ Рондо – одна из распространенных музыкальных форм, в основе которой лежит принцип чередования главной темы – рефрена и обновляемых эпизодов.

Начальница, очень ценившая Катерину Федоровну, изумленно сощурилась на её лицо, когда встретила её в коридоре. Кажется, никаких перемен не было ни в строго-монашеском туалете молодой девушки, ни в её простой причёске, где волосок был пригнан к волоску... Но... лицо было уже не то! Какая-то женственность появилась в этой новой улыбке, в угловатых всегда движениях, в замедленной походке. Яркий румянец, всегда ровно игравший на смуглых щеках, теперь поминутно угасал на похудевшем в одну ночь лице. Глаза как бы ввалились, окруженные кольцом тени. В них был блеск усталости и лихорадочного возбуждения. И эти глаза прятались под густыми ресницами. Всегда резкий голос как-то глухо вздрагивал... Движения были растерянные. Но счастье сияло в лице, как солнце, и делало незаметную Катерину Федоровну интересной, даже красивой... Начальница проводила её долгим взглядом и, вздохнув, прошла дальше.

В свои тридцать восемь лет изящная и моложавая, она тайно жила с человеком моложе ее. Как опытная женщина, она тотчас угадала, что Катерина Федоровна влюбилась, что у неё есть любовник... На лице красивой начальницы, самой молодой в Москве, назначенной прямо из Петербурга и потому имевшей много врагов и завистников, всегда лежала тень затаенной грусти, которую объясняли тяжестью забот в огромном, ответственном деле. Все, приходившие с нею в соприкосновение, видели перед собой корректную, неизменно внимательную светскую женщину с непроницаемою усмешкой и зорким взглядом. Никто не догадывался, что с одиннадцати вечера, когда институт погружался в сон и мрак, начальница живет личной жизнью, полной тайны и поэзии. В лунные ночи выходит на внутренний дворик и часами глядит в небо, думая о Петербурге, где та же луна светит её неверному любовнику, которого она не может разлюбить, которого не перестает ждать... Или садится за рояль в своей квартире и, заперев все двери и завесив портьеры, чтобы звуки «ереси» не доносились до целомудренных ушей дежурных классных дам, играет с огнем и страстью венгерские танцы Брамса и вальсы Штрауса... Или же напевает песни цыган, которых она часто слушала с «ним» потихоньку в Петербурге... А иногда, бросая книгу французского романа, плачет по ночам и ломает руки от мысли, что жизнь уходит вдали от любимого человека, что молодость ушла, что никогда не вернуть того, что было и угасло...

Лицо Катерины Федоровны целый день стояло перед глазами начальницы. «Счастливая! – думала она. – Но надолго ли? И чем это кончится? Если выйдет замуж...»

Тут мысли начальницы принимали другое направление. Катерина Федоровна была инспектрисой музыки и заведовала вот уже два года всей музыкальной частью в институте. А музыка и пение считались там чуть ли не главными предметами. Из Петербурга постоянно наезжали царственные гости. Их встречали и провожали пением... На акты съезжалось начальство других институтов, и ни один промах в этом деле не прошел бы незамеченным... Институт обладал громадной, ценной библиотекой с мессами Россини¹²², со старинными XVIII века произведениями Глюка¹²³, Люлли¹²⁴, Гретри¹²⁵ и т. д. всё это лежало фактически на плечах Катерины Федоровны. Романтический элемент, так неожиданно вторгшийся в жизнь суровой девушки, всеми давно обреченной на долю старой девы, хотя и делал её более близкой и интересной для начальницы, но он же угрожал в недалеком будущем такими осложнениями, что у графини прямо руки опускались. «Хотя бы уж жила так! Подождала бы замуж выходить, если детей не будет...»

¹²⁰ Кальбреннер Фридрих Вильгельм Михаэль (1785–1849) – немецкий композитор и пианист.

¹²¹ Группетто – мелодическое украшение, состоящее из 4–5 нот: чередование основного звука с соседними – верхним и нижним вспомогательными звуками.

¹²² Россини Джоакино Антонио (1792–1868) – итальянский композитор.

¹²³ Глюк Кристоф Виллибальд (1714–1787) – немецкий композитор.

¹²⁴ Люлли, Жан Батист (1632–1687) – французский композитор.

¹²⁵ Гретри Андре Эрнест Модест (1741–1813) – французский композитор.

О, если б враги графини проникли в ересь этих мыслей!.. По правилам института, выработанным не столько в силу традиций, сколько самой жизнью, в классные дамы и учительницы поступали только вдовы и девицы. И начальница, знавшая, что враги не дремлют, не решилась бы никогда на такое новшество: оставить в институте замужнюю учительницу.

В этот день Катерина Федоровна была дома только за завтраком, какие-нибудь полчаса. Сестры не видала... Минна Ивановна шепотом заявила старшей дочери, что Соня ночь не спала и не позвать ли доктора. Катерина Федоровна насупилась.

– Пустяки, мама! Не огорчайтесь!.. Она с семи лет влюбляется и всякий раз помирать хочет... Помните этот скандал с учителем истории? Когда я записку её к нему перехватила?

– Ах, Катя!.. Тогда она была дитя... В тринадцать лет...

Глаза Катерины Федоровны сверкнули.

– Вот в том-то и горе наше с вами, что никогда она не была «дитя», а только дрянная девчонка, которую пороть надо было, а не баловать, как вы! Ну-ну... Полно!.. Вы лучше за меня порадитесь... Теперь вся наша жизнь изменится. Я вас обеих возьму к себе... Заживем панями... Вы будете рябчики каждый день кушать. Софье куплю голубое шелковое платье, о котором она мечтает... Все капризы её исполню. Помяните мое слово: Софья через неделю от своей страсти вылечится. Ну, улыбнитесь, мамочка! Меня пуще всего злость берет на Софью, что она вас не щадит...

– Уж ты её не брани, оставь! – лепетала, сморкаясь, наполовину успокоенная Минна Ивановна.

– Не буду бранить, если вы котлетку скушаете...

– Ну... ну! – И Минна Ивановна протянула тарелку, не замечая, что время бежит, а Катерина Федоровна ещё не ела сама.

В четыре часа Катерина Федоровна выходила из института. Она торопилась обедать. У неё в этот день было ещё три урока.

«Обещала прийти к нему... Надо дома предупредить. Солгать? О, как это ужасно лгать! Если б он согласился провести вечер в семье, как подобает жениху!.. Был ли он ещё у матери нынче?»

Вдруг она ахнула. Кто-то на углу переулка схватил ее, как железными тисками, за локоть. Не оглядываясь ещё, она догадалась, что это Тобольцев, и чуть не упала от волнения.

– Целый час жду тебя на морозе! – Он вел её к саням, жадно глядя на нее. – Садись!.. Только четверть часа...

– Меня ждут обедать... Пусти, Андрюша!.. – Она в ужасе чувствовала рядом с ним свое полнейшее бессилие.

– Ах, вздор! (Они уже сидели рядом, в тесных санках, и он крепко держал её за плечи.) Сергей... прямо... Живее! – И не успела лошадь тронуть, как он взял в обе руки её лицо, и оно загорелось под его поцелуями.

Красный туман прошел перед глазами обоих. Они словно опьянели. На дворе падали сумерки, фонарей ещё не зажигали, кругом было глухо. Но, если б светило солнце и кругом была толпа, все равно они целовались бы...

Катались они минут двадцать. Сергей, привыкший к похождениям своего барина и ухмылявшийся в бороду, направил путь по давно известной им обоим Дорожке к Трубной площади. Подъехав с бульвара, он придержал лошадь. Господа все ещё целовались, и шептались, и хохотали.

Остановка отрезвила Тобольцева. Он оглянулся, но местности не узнал: так далеки были его мысли.

– Ну? Чего стал?

Сергей нагло ухмыльнулся.

– Нешто не здесь, барин, сойдете?

Тобольцев узнал фасад здания, и кровь кинулась ему в голову.

– Болван! – бешено крикнул он. – Назад!

Сергей дрогнул, и рысак взял с места.

– Ах, как хорошо кататься! – звуками, полными изнеможения, сказала Катерина Федоровна.

На обратном пути было решено, что Тобольцев заедет за Катей в ту улицу, где она давала последний урок, и привезет её к себе домой...

– На один час, на один только час! Теперь, когда ты – моя невеста, что предосудительного могут найти в твоём визите? Да, наконец, кто смеет тебя судить? Такую сильную? Такую гордую? – Вырвав у неё это обещание, Тобольцев помчал домой... Катю он покажет одной только нянюшке. Остальных надо устранить... «Потапов»... – вдруг вспомнил он и даже охнул от боли. И надо же было ему именно теперь приехать в Москву! Нет... С ним приходится считаться... Он даже волосы на себе рванул. Но через минуту ему стало стыдно... Они не виделись так давно!.. И Бог знает ещё, когда встретятся?... Лицо его загорелось от сознания, что он фальшивит с собой... что он, в сущности, бессилен вырваться из заколдованного круга своих чувственных грез. Все, что не было Катей в эту минуту, было почти враждебно ему.

Но судьба ему улыбалась. Нянюшка в передней подала ему письмо, принесённое каким-то рабочим. Тобольцев лихорадочно сорвал конверт и читал, стоя под светом лампы, не снимая дохи и шапки.

«Опять не увидимся на этот раз. Жаль! По непредвиденным обстоятельствам утекаю из Москвы. На улице сделал неожиданную встречу, и хорошо, что вовремя заметил слишком знакомую мне рожу. Все-таки запутал следы. Пишу тебе с вокзала... Чемодан сбереги. У тебя его искать не придут. Хорошо, что я не успел утром к тебе заглянуть! Все пропало бы. Если зайдет от моего имени к тебе рабочий человек, Федор, по прозвищу Ртуть, отдай ему чемодан. Уничтожь письмо. Жму твою руку, Андрей! Когда-то ещё свидимся?... Да... Не забудь пароля для того, кто придет от меня, Сосновицы"...»

Тень прошла по лицу Тобольцева. Он зажег на лампе письмо и затоптал его ногами. Теперь он был искренно опечален судьбой товарища и несостоявшейся встречей. Настроение его было отравлено...

В столовой, развалившись на дубовом, стуле, с рюмкой ликера и сигарой в зубах, в одиночестве заседал Чернов. Лицо его было мрачно. Час назад нянюшка, вконец развинченная новостью, которую ей сообщил Андрюша, на требование Чернова – обедать, кинула ему грубее обыкновенного:

– Подождите! Небось барина нет... – Чернов с негодованием показал на часы.

– Шесть... Седьмой... Твой барин, может, уж где пообедал в компании... А я тут с голоду умираю! Неси, что ли!

Нянюшка повиновалась. Но, ставя на стол полмиски с супом, пока Чернов уничтожал сардинки, хлопая (по выражению старушки) рюмку за рюмкой, – нянюшка со злорадной усмешкой заявила Чернову: «Кушайте, кушайте! Недолго вам на готовых харчах отъедаться. Пришел вам всем конец... И спящим, и обедающим, и прочим, которые... Всем конец пришел!»

И она сделала энергичный жест маленькой коричневой рукой.

– Эт-то что т-такое! – нахально рассмеялся Чернов.

– А то, что хозяйка скоро у нас с вами будет... Над всеми начало возьмет... Вот что!.. И живо всех вас, лодырей, разгонит! – Она обернулась к стыдливо прятавшемуся за листьями пандануса единственному образу во всем доме, старой иконе в серебряной ризе. И уже дрожащим от скрытых слез голосом прокричала, широко крестясь: «И скажу: „Слава тебе, Пресвятая Богородица!“ И ежели мне, старой, не ужиться тут с новыми порядками, все-таки скажу: слава

Богу!.. Потому вас всех, лодырей, разгонит теперь Андрюша... Страмоты этой и озорства в доме не будет... Да!»

Чернов есть перестал. Его красивые (рачьи, как говорила нянюшка) глаза вылезли из орбит: «Да ты... пья-на?»

Но уж тут нервы старушки не выдержали. «Не ты ли поднес? – заголосила она. – Ах ты, такой-сякой!»

И забушевала.

Впрочем, гнев её скоро прошел, потому что Чернов не только не обиделся на эту неожиданную выходку всегда тихой старушки, а даже «сомлел» как-то весь... Есть перестал, положил локти на стол, налил себе стакан вина и начал глядеть в него остановившимися глазами... Только головой иногда покачивал, словно ничего не слыша из «акафиста» няни. И твердил раздельно и упорно, как бы отказываясь понять: «Хозяй-ка?.. Гм... Хо-зяй-ка...»

Старушка застыдилась своей вспышки. Ей стало жаль «лодыря»... Потому, куда денется? Хоть и дрянь парень, а все-таки человек, какой ни на есть... Пришел голый и уйдет голым... Она пошла за жарким и положила Чернову лучший кусок гуся. Потом подперла рукой щеку и начала интимным тоном, каким никогда не говорила раньше, рассказывать, как и что говорил Андрюша, как во фрак оделся с утра...

– К матери ейной поехал, стало быть, благословения просить... – И вдруг всхлипнула и полезла за платком.

Слово «фрак» опять поразило ленивое воображение Чернова. Няня уже принесла сладкое и кофе, а он все тягуче твердил:

– Во фра-ке?.. Вот как!.. Во фра-ке... – Сомнений уже не было. «Катка» покорила Тобольцева, и няня права. Его выметут на улицу, как выметают хлам. Он чуть не всплакнул за шестой рюмкой ликера, когда раздался звонок. Чернов был так расстроен, что даже не поздоровался с хозяином.

Тобольцев мельком глянул на него, довольно враждебно, и пошел переодеться. Полный одного только желания быть наедине с любимой женщиной, он не чувствовал в себе обычной способности входить в интересы других. Страсть делает людей жестокими...

Но, сев за стол и подвязывая салфетку, он пристально взглянул в убитое лицо приятеля и мягко заговорил: «У тебя деньги остались? Видишь ли? Тебе неудобно здесь... жить теперь...» – Чтоб скрыть смущение, он залпом выпил рюмку водки.

– Знаю, – неожиданно покорным звуком ответил Чернов, но остановившихся глаз не поднял.

Ноздри Тобольцева дрогнули.

– Что ты такое знаешь?

– Все знаю, – процедил Чернов. И на этот раз в его выпуклых глазах появилась прежняя наглость.

У Тобольцева задергало щеку, пока, стиснув зубы, он старался выдержать взгляд Чернова. Тот вдруг усмехнулся.

– Вчера... она мне встретила... когда сюда ехала.

Тобольцев вскочил и ударил кулаком по столу.

– Ты подстерегал?.. Негодяй!

Чернов сжался как-то весь, спрятав голову в поднятые плечи.

– Ну, чего ты, право? Ведь женишься? Мне какое дело?

Тобольцев тяжело дышал. Сорвал салфетку и сел, стараясь успокоиться... Да! Теперь он хорошо видел, не было другого выхода из созданного им самим положения. И – теперь он понимал ясно – все его поведение в прошлую ночь было продиктовано безошибочным инстинктом. Жаль свободы, конечно!.. Но, видно, как ни отрицай обряды, а приходится идти на уступки,

если любишь женщину. А требовать геройства от нее... какое он имеет право? «И чем скорее покончить, тем лучше!»

– Деньги у тебя есть? – повторил он уже спокойно.

Чернов взглянул негодуя.

– Какие деньги?

– А, черт!.. Ведь не в десяти же рублевом номере ты ночевал!

Чернов усмехнулся.

– Подумаешь, провинциал-л!.. Найди мне гостиницу, куда бы тебя пустили без вещей и без жен-щины?

Тобольцев с мгновение глядел на отекающую физиономию Чернова. И вдруг весело расхохотался.

– Ну, знаешь? Придется тебе эти замашки оставить на время... Вот тебе пятьдесят рублей! Сейчас ступай и найми себе комнату помесечно. И прошу не рассчитывать на большую сумму от меня до... ну хоть до... – Глаза Чернова почти вылезли из орбит от волнения. – ...ну хоть до лета! Я постараюсь тебя пристроить в Москве... И становись на собственные ноги... Отдохнул? Уж, пора!

Чернов мгновенно успокоился. До лета было далеко.

Тобольцев брезгливым движением отодвинул бумажки от блюда с жарким.

– Ну, что ж ты не берешь деньги? Или... (Усмешка сверкнула в его глазах.) Или тебе этого мало?

Чернов с таким презрением поднял брови и скривил рот, небрежно в то же время засовывая бумажки в карман пиджака, что никакого не могло оставаться сомнения в том, как глядит он на поведение Тобольцева.

«Вот нахал!!!» – весело подумал Андрей Кириллыч.

– Для меня деньги никогда не имели значения, – процедил Чернов, и его глаза досказали: «Не такой я скаред, как ты!..»

– Ах, черт возьми! – расхохотался Тобольцев, откидываясь на спинку кресла. – Да ты просто неподражаем! – Он разом пришел в прекрасное настроение, вытянул с комфортом под столом свои длинные ноги и с удовольствием хлебнул вина.

Но Чернов – потому ли, что считал себя уже обеспеченным, с деньгами в кармане; потому ли, что владел тайной Екатерины Федоровны и рассчитывал сыграть на этих акциях, – не считал уже нужным скрывать свой образ мыслей. Ему хотелось извлечь наибольшую выгоду из своего положения. Из-за «Катки» он терял сейчас слишком много.

– Ты обрекаешь меня на нищенство и имеешь духу смеяться? – сдержанно, драматическими нотками, но с злым блеском в глазах начал он, наливая седьмую рюмку ликера.

– Ну, знаешь что, Егорка? Все в меру хорошо, даже наглость твоя... Ты слышал, сколько мне Ситников стоит?..

– Н-ну... то скрипач...

– Двадцать пять в месяц. И те насилу заставил его взять. Чуть не плакал... А Дмитриев?

– Ну, вот нашел!.. Студент небось!

– Дура!.. Студент, по-твоему, не человек? Перечница ты чертова! – рассердился Тобольцев. – Студент... Как будто у него кожа другая? Чем ты лучше его? А он не соглашался принять от меня больше двадцати пяти в месяц... Да и то до первого заработка... Студент... Пошевели мозгами-то! Кто из вас для общества полезнее? Он талантливый малый...

– О... я давно знаю, что я – ничтожество!..

Тобольцев встал из-за стола, не допив кофе.

– Ну, я вижу, ты ссориться хочешь... Назюзюкался опять... Смотри, Егорка! Запьюсь – отрекусь от тебя... Так и знай!

– Мы все уже готовы к этому, – изрек Чернов, с привычной «слезой» в голосе. – Недаром гласит пословица: женится – переменится...

Тобольцев вздрогнул. Большими глазами он поглядел на приятеля. Эти слова задели какую-то тайную рану в его сердце.

– И все ты врешь, – подавленным звуком ответил он. – Перемениться может тот, над кем традиции и обрядности имеют силу, кто в них вырос, кто в них верит... А мое мирозерцание не может измениться оттого, что в паспорте, вместо «холост», появится слово «женат»... Как я был свободным человеком, так и останусь...

Чернов засвистал...

– Держи карман! С такой медвед... гм... кх... кх... С такой женщиной...

Тобольцев строго поглядел в побагровевшее лицо Чернова.

– Надеюсь, что я не хуже твоего разглядел характер моей будущей жены. Если хочешь знать, за эту вот натуру я её и полюбил. Будь она мягка, как Соня... хоть Соня и красавица, а Катю хорошенькой назовешь с натяжкой... Но, будь она мягка и податлива, на что мне нужна была бы такая? Ну, полакомился бы я такой девчонкой месяца три... Ты найди мне женщину с натурой, с индивидуальностью... Где они?

– А Засецкая?

Тобольцев задумался на мгновение.

– Да, конечно... Засецкая интересна... Но... когда я увидел рядом с нею её сожителя, этого румяного, плотоядного старичка... И представил себе довольно ясно все, что этот купец, истаскавшийся по парижским и берлинским притонам, заставлял когда-то проделывать эту надменную Засецкую, для возбуждения его притупившихся нервов... мне противна стала мысль поцеловать её в губы...

– Скажите пожалуйста! – искренно удивился Чернов.

– Да, противно!.. – с силой сорвалось у Тобольцева, и глаза его вспыхнули. – Ты, пожалуй, в этом не разберешься! Для того, чтоб почувствовать такую брезгливость, надо узнать любовь вполне чистого, непродажного существа... гордого и смелого... А ты этого не знал? Ну, и довольно об этом! Довольно... На эту тему прекращаю разговор! – крикнул он голосом, какого не знал за ним до сих пор Чернов.

Настала небольшая пауза. Нянюшка бесшумно убирала со стола, искоса следя за приятелями. Тобольцев шагал по комнате, непривычно задумчивый, непривычно серьезный... Нянюшка подавила вздох и, выйдя на кухню, всплакнула опять.

– Сердись на меня, не сердись, – вдруг мягко заговорил опять Чернов, раскуривая потухшую сигару, – но я не могу себе представить тебя женатым... Не знаю, право... Цыган ли я такой по натуре, но чем больше совершенств, тем скучнее с женщиной... Я если б женился, то на такой, как Сонька...

Тобольцев круто остановился.

– Ужасно порочная эта девчонка! Бессознательно развращенная... И это, представь, мне нравится в ней больше всего! В ней ни минуты нельзя быть уверенным... бил бы её жестоко!.. Но такая может дать безумное счастье...

Тобольцев подумал: «Не по носу табак тебе...» И зашагал по комнате, не возражая. Но сам он не мог понять, почему что-то враждебное впервые шевельнулось в его сердце к Чернову. Он, внимательно сощурившись, взглянул на актера, как глядят на чужого. «А ведь очень недурен, собака!.. Даром что забулдыга... И такие вот женщинам нравятся всегда... А „чистым“ женщинам нет слаще, как таких любить и спасать... Это ещё Чехов подметил».

– А по какому праву ты так говоришь про Соню? – вдруг спросил он, неожиданно для самого себя.

Фатовство Чернова взяло верх над осторожностью.

– Ты в чаду собственного роман-на поглядел, очевидно, мой...

– У тебя роман? С Соней?

– Ну, да... Фор-мен-ный! Чего ты так... уставился? Что ж тут стран-ного? Не мужчина я, что ли? Чем я хуже тебя? Вот ещё!..

– Т-а-ак! – протянул Тобольцев и вдруг рассмеялся.

– Целуетесь, значит?

– В за-сосс! – так и выпалил Чернов.

Тобольцев отрывисто, нервно расхохотался опять и потянулся всем телом. «Вот постой, я её спрошу!» – с задором кинул он. И как-то странно опять поглядел на Чернова.

Тот сделал самодовольный жест и пожал плечами.

– Ну, а... ещё что? – вдруг спросил Тобольцев, приторно зевнув.

– Что такое?..

– ещё что?.. Кроме поцелуев?

– Какой чу-дак! Мало с тебя этого? Пока ничего... Да я и не добивался... С моей стороны это только шал-лость...

Тобольцев вдруг подошел к приятелю и взял его за пуговицу пиджака. Лицо его, близко наклонившееся над лицом Чернова, показалось ему чужим... Чернов дрыгнул ногами и ударился затылком о спинку стула от неожиданности.

– Ну, друг любезный, запомни и заруби себе на носу, что я тебе скажу: эти шалости свои брось! Слышал? В другом месте заводи!

Чернов выждал, когда он отошел. И, выпрямляя грудь, спросил глуповатым тоном:

– Ты разве на обеих женишься?

– Не дури! Соня – сестра моей невесты... Прошу этого не забывать!.. Вообще... со мной шутки плохи, Егорка! С этой стороны ты меня, к счастью, ещё не знаешь... Но я не задумаюсь... коли что... тебе ребра переломать...

«Ах, мужик, мужик! Ах, Таганка неотесанная! – подумал Чернов. – Вымой тебя хоть в десяти европейских реках, все отцовская кровь в тебе скажется». – Гм... реб-ра, – вслух, тягуче молвил он и задумчиво уставился на ковер. – Реб-ра... д-да!..

Через полчаса, когда нянюшка подала самовар, Чернов все ещё прийти в себя не мог и, потягивая ликер, шептал:

– Реб-ра... д-да... ребра...

– Будь покоен, переломаю, – рассмеялся Тобольцев, подсаживаясь к столу и подслушав этот шепот.

Чернов поднял на него затуманенные вином глаза.

– И неужели ж так-таки ни одной интриги больше не заведешь? – неожиданно, в упор спросил он.

– Не думал об этом... Полагаю, однако, что за советом к тебе не приду.

Но выбить Чернова из раз занятой позиции было трудновато.

– Н-нет... Как там хочешь-шь... не поверю, чтоб ты всю жизнь любил только одну женщину...

Тобольцев вспыхнул.

– Брось, пожалуйста, эту психологию! Не на тебе женюсь, и не твоя, значит, печаль... – Он вынул часы. – Я тебя не гоню, Егор, но в восемь чтоб тебя здесь не было!

Чернов печально улыбнулся.

– Всем нам конец пришел!.. Д-да... Как она это сказала? И обедающим, и ночующим – всем конец пришел...

– Вздор какой! Чем помешает мне жена? И нянюшка все глупости говорит... Конечно, хлева у меня в доме не будет, это верно... – Но хорошее настроение Тобольцева уже не вернулось.

Пробило восемь, а Чернов «прохлаждался». Тобольцев оделся и остановился в дверях.

– Я ухожу, Егор... Выйдем вместе!..

– Я потом, – хотел было из упрямства возразить Чернов. Но взглянул на брови Тобольцева и встал, покачиваясь.

Кусая губы, Тобольцев ждал в передней, когда Чернов влезет в его калоши и наденет его пальто. «Скоро ты?» – спросил он, и в его голосе слышались раскаты близкой бури.

– Пер... пеер-чат-ки не знаю...

– И без перчаток хорош...

С оскорбленной миною Чернов подошел к зеркалу в передней. Надел было цилиндр, потом снял его опять и рукавом пальто стал приглаживать ворс. Тобольцев перепахнул полы своей дохи и скрипнул зубами.

«Чисто медведь!.. Калашников¹²⁶ проклятый!» – подумал Чернов. – Где моя трость? Эй вы! Няня!.. – заорал он во все горло.

– А ты что на место не кладешь? – наскочила на него нянюшка. – Вот дите малое нашлось! Не было печали...

Но она только хорохорилась. Тобольцев был прав, когда в шутку говорил, что исчезновение Чернова с горизонта жизни нянюшки вызовет в её душе ощутительный пробел. Он улыбался, спускаясь по лестнице. Ему тоже стало жаль Чернова.

Сергей поджидал у подъезда. Тобольцев сел в сани и вдруг сделал знак Чернову подойти. Тот повиновался, бледный и злой. «Красив как в эту минуту! – невольно подумал Тобольцев. – Совсем барин, хоть и лодырь...»

– Егор, запомни, что я тебе скажу... Чтоб ты нам на глаза не попадался! Слышал? Если тебя когда-нибудь по дороге ко мне увидит Катерина Федоровна, забудь, где мой порог!

Лихач тронул в это мгновение.

– Шантаж! Вот как... – негодуя крикнул Чернов.

Но рысак уже неся. Тобольцев громко хохотал.

«Да он положительно „единственный“... Вот типчик!..»

XVII

Когда нянюшка перешла «в город» – заведовать хозяйством Тобольцева, – Анна Порфирьевна приблизила к себе горничную Федосеюшку. Это была красивая девушка лет сорока, сухая и темная с лица, тоже византийского типа, как и хозяйка. Она единовластно управляла всем верхним этажом.

– Замечательно стильная особа, – говорил о ней Тобольцев. – В её лице есть что-то ассирийское. Те же загадочные, глубокие глаза, то же длинное и тонкое лицо... И гармонирует она, маменька, со всею вашей обстановкой удивительно!

Анна Порфирьевна только головой покачивала и улыбалась.

Трудно было встретить более молчаливое и загадочное существо. Она, не глядя, все видела и знала. Как горничная, она была полна талантов: умела шить, вышивать, причесывать, даже массировать самоучкой, гуки у неё были нежные, как у барышни, с тонкими, Цепкими и выразительными пальцами. От стирки и тяжелой работы она отказывалась. Она великолепно изучила привычки, вкусы и слабости «самой» и через какие-нибудь полгода стала ей необходима. На кухне её не любили и не доверяли ей, инстинктивно чувствуя в ней какую-то скрытую силу. Была ли то жажда власти или жажда жизни – никто не знал. Но превосходство её и сила её индивидуальности чувствовались во всем... Раскольница (как и вся дворянка), она была грамотна, много и жадно читала, потихоньку беря книги у Фимочки и Лизы. Но читала

¹²⁶ Калашников – герой поэмы М. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837).

их по ночам. Она была религиозна до экзальтации и сопровождала Анну Порфирьевну на все службы и богомолья. Голос у неё был певучий, манеры вкрадчивые, походка бесшумная. Она ни с кем никогда не спорила, не возвышала голоса... её всегда опущенные ресницы как бы тушили искры её загадочных глаз.

– Ух! Сколько чертей в этой натуре! – раз как-то заметил Тобольцев. Анна Порфирьевна рассердилась.

– Стыдно клепать на девушку!.. Она чистой жизни... Прошу не смущать ее, если не хочешь меня обидеть!

Федосеюшка раз в три недели просилась ночевать к замужней сестре. Возвращалась она аккуратно к семи, но дня два после этого выхода не могла оправиться: была желта, с синими кольцами вокруг глаз, с лихорадкой в худом, изможденном теле.

– Подумаешь, сестра на ней всю ночь воз возила, – язвил кучер Ермолай, который, как опытный сердцеед, чувствовал «натуру» в этой девушке. Он не прощал ей того, что она не поддается на все его подходы и что она осрамила его на весь двор, уронив его престиж донжуана. – Подожди, ужо... Уж я тебя выслежу! – грозил он ей. – Разыщу твою сестру...

Трудно сказать, из каких тайных и запутанных нитей сплетаются людские отношения?.. Какие предчувствия, антипатии, предубеждения и впечатления ложатся в их основу? Но бывают необъяснимые, как бы мгновенно загорающиеся в душе с первой встречи, чувства симпатии или вражды. Эту глухую, загадочную антипатию с первого же момента почувствовала Лиза, увидав халдейское лицо Федосеюшки. И страннее всего: они были похожи чем-то друг на друга... фигурой, типом лица, даже некоторыми черточками натуры. И это сходство ещё более обостряло антипатию Лизы. Она готова была побиться об заклад, что Федосеюшка ненавидит ее. За что?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.